

К. Парчевский

ПО РУССКИМ УГЛАМ





К.К.Парчевский

ПО РУССКИМ УГЛАМ

Москва
2002

ББК 63.3

П 18

Подготовка текста к публикации и общая редакция
доктора исторических наук Т.А. ПАВЛОВОЙ

Рецензенты: д.и.н. Н. П. КОМОЛОВА,
к.и.н. Е.А. БОНДАРЁВА

Оформление художника НИКОЛАЯ ОРЕХОВА

Работа выполнена
в секторе истории международных отношений
Института всеобщей истории РАН

**П 18 Парчевский К. К. По русским углам. — М.,
ИВИ РАН, 2002. — 220 с.**

ISBN 5-94067-060-1

П $\frac{0503010000-4}{45\text{жс}(03)-2002}$ без объявлен.

© Наследники К.К. Парчевского, 2002
© Институт всеобщей истории РАН, 2002

К. К. ПАРЧЕВСКИЙ И ЕГО КНИГА «ПО РУССКИМ УГЛАМ»

За 10 с небольшим последних лет были опубликованы сотни книг и многие тысячи материалов в виде отдельных публикаций того богатого наследия, которое создали русские беженцы, оказавшиеся за границей после событий октября 1917 года и гражданской войны. За это десятилетие мы смогли познакомиться с произведениями многих писателей — великих и не очень великих, философов, историков, литературоведов, дипломатов, воспоминаниями политиков и деятелей культуры, военачальников и многих других лиц, и казалось, что опубликовано все, что могло быть издано, и что удивить нас больше ничем будет нельзя. Взяв в руки публикуемую книгу К.К.Парчевского, видишь, насколько ошибочно такое представление, ибо ничего подобного до сих пор у нас не издавалось.

Несколько слов о самой книге и ее названии. В таком виде, в каком она сейчас выходит, книга появляется на свет Божий впервые, никогда и нигде она ранее в таком виде не публиковалась. Подготовив ее к печати, родные и близкие К.К.Парчевского, и прежде всего Б.М.Парчевская и Т.О.Орехова, внучка автора, совершили настоящий подвиг: очерки, из которых состоит книга, были переписаны от руки в читальных залах Государственной Библиотеки из газеты «Последние новости», где они первоначально были опубликованы, и потом перепечатаны. Порядок же расположения очерков и название принадлежит самому автору.

Название книги очень точно передает состояние и положение русских беженцев — они занимали «свой угол» в каждом из тех городов или областей, куда их занесла судьба. Но какой ценой давалось создание такого своего русского угла! Днем напряженная работа на металлургическом производстве у доменной печи или еще где-нибудь в таких же нечеловеческих условиях, и все это в течение довольно длительного времени, все для того, чтобы получить место под церковь или школу. Но зато постепенно образовывался

уголок настоящей России, уголок уютный, дающий то домашнее родное тепло, радость общения с единоверцами, которого беженцы были лишены в течение продолжительного времени. («Вечер в Сансе», «Сталь и железо», «Нильванжский уезд» и другие очерки).

Таких русских уголков в книге описано более тридцати, и у каждого из них своя судьба, своя специфика, свое неповторимое и не сравнимое с другими лицо. Таких «русских уголков», даже если судить по книге К.К.Парчевского, во Франции так много, что создается впечатление, что вся Франция — это «русский уголок». Русские живут в этих уголках своей жизнью, которой они научились и привыкли жить у себя дома.

Книга К.К.Парчевского удивительна во многих отношениях. Прежде всего, эта книга написана очень талантливым человеком. Талант проявляется абсолютно во всем и, прежде всего, в языке. Очерки написаны блестящим русским живым, разговорным языком, очень образным и метким, тем языком, на котором разговаривали люди, о жизни и судьбе которых рассказывается. И в то же время автор нигде не допускает вульгаризмов и жаргона, свойственного той или иной общественной прослойке.

Талант и удивительный такт автора очень ярко проявился и в умении выбрать ту позицию, найти тот подход к восприятию и передаче тех событий, о которых идет речь, судеб тех людей, о которых рассказывается в отдельных очерках. А судьбы и люди самые разные, это и простые рабочие, которые работают на металлургических заводах и живут в довольно скромных условиях, и бывший министр земледелия в последнем правительстве Императорской России, который живет на отдельной вилле, и генералы, и солдаты, и казаки, и многие другие социальные группы. И жизнь каждой группы, каждого человека, а у всех них очень непростые судьбы, свои судьбы, автор видит и воспринимает изнутри и умеет передать это состояние человека образным, талантливым, доходчивым словом.

Книга К.К.Парчевского удивительна и тем, что, хотя это высокохудожественное литературное произведение, чтение которого доставляет истинное наслаждение, по существу она является бесценным историческим источником по русской эмиграции первой волны во Франции.

Как уже упоминалось, книга состоит из серии отдельных очерков. Каждый очерк посвящен какому-нибудь одному городу, в котором проживало компактно более или менее значительное число русских беженцев, или какому-то определенному району, в котором беженцы проживали отдельными разрозненными небольшими группами. Очерки охватывают всю территорию Франции, так что в конечном итоге складывается исключительно полная картина расселения и состояния русских беженцев во Франции.

Все очерки этой серии написаны в конце 1936 — первой половине 1937 годов, и таким образом, книга в целом дает полное представление о жизни русских беженцев на этот период, на это время. По полноте содержащихся в очерках данных — это целая энциклопедия. Многого из того, что в них содержится, не найдешь ни в статистических отчетах, ни в специальных исследованиях. Это и сообщения о численности беженцев в каждом из тех городов и областей, которому посвящен конкретный очерк, причем очень часто с приведением численности отдельных социальных групп, это и рассказ об условиях жизни и работы русских беженцев, об их взаимоотношении с администрацией предприятий и месте проживания, об отношении этих властей к русским, о взаимоотношении людей внутри русских колоний между собой, об их мироощущении и внутренней жизни.

Но на самом деле, книга К.К.Парчевского значительно глубже и более значима, чем просто показ жизни русских беженцев во Франции в период 1936—1937 годов. Говоря о положении людей в эти годы, автор очень часто приводит их же рассказы о том, как они оказались в этом месте, каким вепром их сюда занесло, как они выбирались из того пожара Гражданской войны, которым была охвачена Россия. Так что очерки — это и бесценный источник о жизни русских беженцев в целом.

Для историка русской эмиграции первой волны книга К.К.Парчевского представляет особый интерес и в том отношении, что источником для ее написания послужили не сухие строчки документов, в которых подчас трудно уловить состояние души человека, а рассказы живых людей, на своих плечах вынесших все немислимые тяготы и испытания — и внешней жизни и, что особенно важно, внутренней, которые свалились на те поколения в результа-

те страшных катаклизмов, обрушившихся на Россию в начале XX века. Нам даже трудно представить, что пришлось пережить тем людям, которые оказалась в пламени событий тех лет, ибо этих событий никто не ожидал, и никто не был к ним готов. К.К.Парчевский, сам это все переживший, сам испытывавший все тяготы и лишения изгнанничества и беженской жизни, смог услышать сердечную боль своих собеседников и донести ее своим талантливым словом до своего читателя, а сейчас и до нас, жителей России начала XXI века.

Для историка русской эмиграции первой волны книга К.К.Парчевского заставляет обо многом задуматься. Таких вопросов много. Вот только некоторые из них. А что стало с теми людьми, о которых говорит автор, как сложилась их дальнейшая жизнь, жизнь их детей и внуков? Что стало с могилками тех русских людей, которыми в большом количестве усеяна земля Франции?

И долг нашего поколения проследить все это и в некотором смысле продолжить тот подвиг, который совершил К.К.Парчевский, создав свои очерки, в которых сохранил и тем самым увековечил и донес до нас ту трагедию, ту боль и горести и одновременно силу и крепость духа русского человека в годину выпавших на его долю страшных испытаний.

*С.А.Беляев,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник ИВИ РАН,
заведующий группой
по изучению русской эмиграции*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первая волна российской эмиграции XX века — явление уникальное по своим масштабам и своеобразное по своей исторической сущности. За пределами родины оказалось целое общество, все классы и сословия дореволюционной России, представители разных политических партий, как левых, так и правых. Несмотря на пестрый состав, эмиграции удалось и на чужбине сохранить свои традиции, привычный образ жизни, русскую культуру и православную веру.

Константин Константинович Парчевский (1891–1945) знал жизнь эмиграции изнутри, не понаслышке, пройдя на собственном опыте нелегкий путь беженца-эмигранта. Литератор и журналист, он был хорошо известен в кругах российской эмиграции в 1920–1930-е годы, пользовался уважением и популярностью благодаря многочисленным статьям и очеркам о жизни русских эмигрантов, рассеянных по всему миру после 1917 г., а также благодаря своей общественной деятельностью в эмигрантских организациях.

Он родился в 1891 г. в местечке Ошмяны Виленской губернии (ныне это территория Белоруссии) примерно в 50 км от г. Вильнюса. Детство и юность провел в Вильнюсе, где окончил реальное училище и прошел курс в консерватории по классу фортепьяно. Высшее образование получил в Петербурге, где окончил юридический факультет университета и психоневрологический институт Бехтерева. В 1918 г. выпустил две небольшие работы по интересующим его общественным проблемам: «Самоопределение народов» и «Положение президента в демократической республике».

В 1920 г. вместе с семьей (женой и двумя детьми) покинул Россию и, подобно многим представителям интеллигенции, через Новороссийск и Турцию переехал в Болгарию. Там, занимаясь литературным трудом, он сотрудничал в журнале «Славянска взаимност» и литературной газете «Развигор», организовал в Софии русскую библиотеку. В 1923 г., продлав путешествие по Дунаю до Вены, он в

конце концов обосновался в Париже. Первые восемь месяцев ему пришлось проработать чернорабочим на заводе Рено, а его жене — в мастерской игрушек.

Опыт работы на автомобильном заводе, знакомство с положением эмигрантов («этранже»), проблемы с трудоустройством, мизерные заработки, 10-часовой рабочий день — все это нашло отражение в его первом очерке «У станка», опубликованном в газете «Последние новости» 23 марта 1924 г. (№ 1202). Этот очерк явился как бы заявкой будущей основной темы, которой К. К. Парчевский посвятил все годы пребывания в эмиграции. Тема эта — положение русских эмигрантов за границей и их судьбы. Постепенно сложился и особый стиль рассказа-очерка, в котором фактический и статистический материал логично переплетается с рассказом самих эмигрантов, создавая достоверную картину жизни во всем ее многообразии. Художественность очерков отмечали многие, в частности известный славист проф. А. Мазон.

В целях более глубокого ознакомления с жизнью и проблемами русских эмигрантов К. К. Парчевский вел обширную переписку и составил специальную анкету, давшую ему уникальный материал для статей. Он совершил целый ряд поездок по различным регионам Франции, посетил Нидерланды, Швейцарию, Австрию, Германию и Югославию, в 1935 г. побывал в Южной Америке (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай), в 1937 г. в качестве специального корреспондента газеты «Последние новости» объехал Северную Африку (Марокко, Алжир, Тунис, оазисы Северной Сахары). Благодаря переписке и ответам на анкету, он заочно познакомился с русскими эмигрантами, жившими в США, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и на Филиппинских островах. Статьи и очерки он регулярно публиковал в эмигрантской периодической печати Франции (газета «Последние новости», журнал «Иллюстрированная Россия») и других стран. Всего за 1930-е годы им было опубликовано более 180 статей, а цикл «В Парагвай и Аргентину» после публикации в газете «Последние новости» был издан отдельной книгой в Париже в 1936 г.¹

¹ Парчевский К. К. В Парагвай и Аргентину. Париж, Les ed. Reunis, 1936. 304 стр.

Следует отметить и другие крупные работы: циклы «По русским углам» о жизни русских эмигрантов во Франции; «Африканское лето»; «Марокко»; «Австралийские рассказы»; «Перуанская авантюра» о переселении в Перу кубанских казаков под руководством генерала Павличенко и братьев Королевичей; кроме того, небольшой цикл «Голландские открытки», состоящий из четырех статей; две статьи «Трагедия в Куртине» о судьбе русских солдат, посланных во Францию в помощь союзникам, сражавшимся на Марне, и очутившихся в концентрационном лагере после окончания войны. Следует также назвать отдельные статьи о молодежи и детях («Молодежь», «О русских детях», «Мелкота»), очерки об эмигрантах XIX века («Жилибыли», «Лавровские четверги»), цикл статей о женщинах: «Фрау фон Гете», «Ротмистр Александров» (к 150-летию со дня рождения Н. А. Дуровой), «Жена Суворова», «Дочь Сперанского», а также статьи «Басманный философ» о Чаадаеве, «Саша Черный» (к 25-летию литературной деятельности), «Болезнь и смерть Тургенева», «Журналисты французской эмиграции: Малле-дю-Пан» и опубликованную 1 декабря 1939 г. статью «Во мраке» — о первом этапе второй мировой войны.

Общественная деятельность К. К. Парчевского была тесно связана с жизнью русской эмиграции во Франции. Он работал в Комитете помощи писателям и ученым; в качестве секретаря Союза писателей активно участвовал в проведении ежегодных балов прессы с разнообразной художественной программой (концерты Шаляпина, выступления балета Лифаря, выставки картин русских художников); в распространении билетов с благотворительной целью ему помогала его жена, Е. В. Парчевская (урожденная Лаврова). В течение многих лет он был членом правления, а затем секретарем Тургеневской библиотеки, устраивал встречи с писателями, вечера для детей эмигрантов, выступал с просветительскими лекциями, а в 1937 г. организовал в доме на Монпарнасе, 10, выставку к 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина.

К нему обращались за консультациями как отдельные лица из разных стран, так и ведущие переселенческие учреждения, например Нансеновский офис Лиги Наций в Женеве. Широкая известность К. К. Парчевского переросла

рамки эмигрантской среды, что позволило ему, как ранее Куприну и Билибину, вернуться на родину, куда он приехал вместе со своей семьей в июне 1941 г., за несколько дней до фашистского вторжения на территорию Советского Союза.

Последней крупной работой явилась книга «Французская катастрофа: война и перемирие в Париже», основанная на личных воспоминаниях автора, и глубоком анализе политической и социальной истории Франции начала XX в.

Вторая мировая война в Европе началась в сентябре 1939 г., а в июне 1940 г. немцы вошли в Париж и оккупировали Францию. К. К. Парчевский, живший с семьей в Париже, оказался свидетелем панического бегства жителей из столицы, пережил вступление в город немецких войск. Мысль написать книгу о начальном периоде второй мировой войны возникла у К. К. Парчевского летом 1942 г. в Москве. Закончился первый год Великой Отечественной войны, позади была трудная зима, которую семья Парчевских провела в эвакуации в Горьковской области. Настало время вспомнить и объяснить причины поражения Франции, приведшие к бесславному перемирию с немцами и к оккупации двух третей этой страны. Рукопись этой книги была закончена в 1945 г., незадолго до смерти автора в Москве, и хранилась в семье его вдовы и сыновей. Она была впервые частично опубликована в 1999 г.²

* * *

Цикл очерков «По русским углам», печатавшихся в газете «Последние новости» с 9 августа 1936 г. по 4 июня 1937 г., — это своего рода «устная история» русской эмиграции во Франции между первой и второй мировыми войнами. Он явился результатом многолетних исследований, основанных на детальном изучении официальных материалов, на личных наблюдениях и впечатлениях во время поездок по городам и регионам страны, на беседах с эмигрантами различного социального положения, культурного уровня, образования и достатка.

² Парчевский К. К. Французская катастрофа: война и перемирие в Париже. 1939–1941// Вопросы истории. 1999. № 6 и 7.

Особенность повествования заключается в том, что очерки, каждый из которых представляет собой отдельное законченное произведение, связаны последовательно один с другим только по географическому принципу; однако по сути своей они являются единым целым, создавая, подобно мозаичному узору, исчерпывающую картину жизни и быта эмигрантов первой волны. Жизнь эмиграции показана не статично, а в эволюции; причем изменения в ее развитии прослежены начиная со времени бегства из России и вплоть до конца 1930-х годов, что придает циклу историческую убедительность.

Первые крупные партии эмигрантов с Балкан появились во Франции в 1922 г. Тысячи русских прошли через Марсель, куда их доставляли морским путем; многие здесь же и осели. Кроме крупных городов, таких, как Лион, Марсель, Бордо, приехавшие селились в провинции, главным образом вокруг больших заводов и промышленных предприятий. Колонии русских образовались в небольших местечках в Лотарингии, в Нормандии, близ Ла Рошеля; много русских переселенцев осело в Гренобле и его окрестностях; ряд русских поселений возник в горной местности Савойи и на Лазурном берегу. Часть эмигрантов пыталась устроиться на земле и поселилась на фермах, разбросанных по всей стране. Немало русских птицеводческих хозяйств появилось в районе Тулона и дальше до самой Ниццы.

Положение эмигрантов было тесно связано с социально-политической обстановкой в стране. На судьбе эмигрантов не мог не сказаться кризис начала 30-х годов. Жесткая процентная норма для иностранных рабочих привела к безработице и вынудила приезжих существовать на жалкое шомажное пособие. Многие фермеры просто разорились. Для того, чтобы хоть как-то устроиться в жизни, целому ряду эмигрантов пришлось натурализоваться, хотя они в душе продолжали считать себя русскими и, как правило, не сливались с французской средой.

Значительную роль в жизни эмигрантов в провинции играла православная церковь, являясь объединяющим центром, который помогал людям решать целый ряд насущных вопросов. Именно она заботилась о сохранении идентичности приезжих в чужеродной культурной и языковой среде, храня народные традиции, отмечая церковные праздники,

обучая детей родному языку. Священник являлся часто посредником в отношении эмигрантов с властями и работодателями, иногда даже выполнял роль переводчика; он утешал, подбодрял, наставлял, учил детей, венчал и хоронил, а также оказывал помощь безработным и бездомным.

За 10-15 лет, прошедшие с начала эмиграции, она, по выражению К. К. Парчевского, «не только утряслась, но и утрамбовалась». Она прошла уже несколько стадий развития: «Сначала люди называли себя беженцами. Через несколько лет они превратились в эмигрантов. В последние годы весьма значительная часть превращается на наших глазах из эмигрантов в иммигрантов», — читаем в очерке «Лионцы». Изменился и возрастной состав эмиграции. Неизбежным было ее расслоение, старение и естественная смена поколений.

Подводя итоги пути, который прошла эмиграция, нельзя обойти молчанием выделившийся из общей массы целый ряд ярких, самобытных личностей, которые и на чужбине сохранили русский дух и надежду на возвращение. Многим из них удалось не только выстоять в многолетней борьбе за существование, не только устроить свою жизнь и жизнь своей семьи, но и помогать нуждающимся и тем, к кому судьба была менее благосклонна, особенно старикам, потерявшим здоровье, и нетрудоспособным. А некоторые посвятили себя работе с подрастающим поколением — теми, кто родился уже в эмиграции и не знал России. Они старались привить им любовь к далекой родине, приобщить к русской культуре и помочь в изучении русского языка. В труднейших условиях жизни на чужбине они сохранили в себе лучшие черты национального характера: трудолюбие, упорство в достижении поставленной цели, добросовестность, отзывчивость, способность бескорыстно помогать нуждающимся, чувство собственного достоинства.

Война разделила XX век на две неравные части. Русская эмиграция первой волны перестала существовать как единое, живое культурное явление. Своеобразным эпилогом к циклу «По русским углам» могут служить пророческие слова старика-эмигранта из очерка «Вокруг Парижа», формально не входящего в этот цикл, но непосредственно к нему примыкающего: «Что значат наши судьбы в сравнении с судьбой нашей страны и всего народа? Эмиграция —

временный эпизод, Россия — постоянна... Среди эмиграции есть хлам, но очень много прекрасного человеческого материала. Обидно, разумеется, что в большинстве случаев он пропадает без пользы для себя и для России... Жаль в этом отношении не Россию, жизнь которой измеряется веками, а человеческие и, главное, молодые жизни».

* * *

Прошло более полувека. Чем дальше отодвигается время первой волны Российской эмиграции, тем более ценными являются для нас свидетельства ее непосредственных участников. В очерках Парчевского звучит живой голос целого поколения русских людей, волей или неволей оказавшихся вне России. Не случайно цикл «По русским углам» оказался востребованным именно сейчас, когда происходит переосмысление истории России XX века. В них содержится уникальный материал для историков, занимающихся изучением русской эмиграции, которая ныне признана неотъемлемой частью общей российской истории ушедшего века. И не только для историков. Отраженный в них пласт русской культуры — драгоценный образец для тех, кому дорога эта культура.

Подготавливая к печати текст очерков, мы учли, что они практически недоступны для исследователей и для читателей. Поэтому мы сохранили их полностью, без купюр, лишь приведя текст в соответствие с современной орфографией, исправив очевидные опечатки и снабдив необходимыми объяснениями малопонятные современному читателю слова и выражения.

Б. М. Парчевская

ПО РУССКИМ УГЛАМ

1. НА ФЕРМЕ

Чем дальше от Парижа, тем больше как-то утряслась и даже упорядочилась русская жизнь за десять-пятнадцать лет борьбы за существование, тяжелого труда, разочарований и неудач, а иногда и подлинного успеха и привычки. В Париже все неопределеннее, нервнее, слабее связи и менее устойчиво какое бы то ни было устройство.

Каких только профессий, часто ничего общего не имеющих с тем делом, каким приходилось заниматься в России, не испытали эмигранты! Испробовано, кажется, все, что может родить воображение и борьба за кусок хлеба. Большинство естественно шло по линии наименьшего сопротивления, устраиваясь рабочими и образуя вокруг больших французских фабрик и заводов целые русские поселки, другие искали самостоятельного труда в областях мелкой промышленности и торговли, третьи упорно, в силу ли прирожденной склонности к земледелию или убеждения, что только это может прочно обеспечить, упорно стремились осесть на землю.

В точности число разбросанных по всей Франции русских самостоятельных земледельцев никому не известно, как мало исследованы и известны результаты таких попыток, всех этих арендаторов и мелких фермеров, уже годами снискивающих себе пропитание сельскохозяйственным трудом. Как и всюду, все складывалось здесь самотеком, часто случайно, и как всегда у нас, к несчастью, совершенно беспомощно, в темную и на ощупь.

В результате одни прогорели, иные кое-как бьются и существуют, но некоторым удалось и по-настоящему стать на ноги и серьезно поставить дело.

— Это очень курьезно, — говорил мне один русский фермер, — но у нас теперь парагвайские условия земледелия исследованы лучше французских. Каждый работает за свой страх, ничего неизвестно, все приходится искать, все-

го добиваться, производить опыты и стукаться головой о стену. Между тем, можно рассчитывать на удачу в этом деле и во Франции, благо пригодной земли и пустующих заброшенных, благодаря недостатку земледельческого населения, ферм сколько угодно.

— Да об этом много уже и писалось и говорилось, а вы вот укажите, где удачливые хозяйства и какие качества требуются от человека, чтобы иметь в таком деле действительный успех?

— Что касается качеств, то трудно сказать, что именно нужно. Вернее, многое нужно, прежде всего, любовь и знание своего дела. Это, впрочем, как во всем. Но этого мало. Необходима сметка, здравый смысл, умение приспособиться к условиям рынка и земли, способность все рассчитать и принять в соображение, готовность все самому сделать, идти на неизбежные лишения и упорную непрерывную работу. Ну, и само собою разумеется, нужны небольшие деньги, тысяч двадцать, еще лучше тридцать. Хороший земледелец должен быть и агрономом, и почвоведом, и экономистом, и чернорабочим, не гнушающимся никакого грязного труда, а желательно и промышленником, умеющим переработать свой сырой продукт в более дорогой и выгоднее реализуемый на рынке фабрикат. Если после ряда неудачных, хотите посмотреть образцовую русскую ферму, — поезжайте к Костареву. У него многому можно поучиться, и его хозяйство докажет, что не так печально обстоит дело русского земледельца во Франции. Да немало и еще есть вполне удачных и налаженных хозяйств под Парижем и в районе Тулузы, Бордо, Прованса или других местах.

О Н.А.Костареве я знал немного по нескольким его статьям в сельскохозяйственных журналах, да по получившим в русском Париже довольно широкую известность малосольным огурцам его приготовления, — действительно великолепных. Интересовавшиеся плодоводством в России знали его давно по его деятельности на Кавказе около Сочи, где у него были большие плодовые сады, в которых разводилась, главным образом, слива. Из нее готовились отличные консервы и сушеный чернослив, в громадных количествах направлявшиеся в столицы и по всей стране. Богатый человек и сочинский городской голо-

ва, во время революции Костарев, как водится, попал в тюрьму, ссылку и концентрационный лагерь. Но не пал духом и там, наладив производство патоки из залежавшейся на каких-то вологодских складах реквизированной картошки, получил вскоре амнистию. Костарев снова на Кавказе. Садов уже у него нет, но есть семья, которую надо кормить, и неутомимая жажда деятельности. Сначала в Сочи, потом в Батуме в компании с батумским греком он варит квас и пиво, ему одному ведомым способом prepares из чего-то сладкую замазку, которая за отсутствием сахара имеет широкий сбыт. Но его снова узнают и разъясняют, реквизируют котлы и примитивно налаженные орудия производства, пока уже в 25 году ученому плодоводу не удастся выехать в Турцию в качестве приглашенного ангорским правительством с разрешения дружественного советского — специалиста по производству фруктовых консервов.

Однако в Турции сколько угодно фруктов, но не оказывается денег для организации консервных фабрик, и русский специалист попадает в Константинополь, а оттуда в Париж. Небольшие, чудом сохранившиеся от хороших времен в швейцарском банке деньги дают возможность, присмотревшись, обзавестись собственной маленькой фермой в нескольких километрах от Шато-Тьерри, к которому я ранним утром и подъезжаю.

Обыкновенный провинциальный городок ничем не замечателен, кроме живописных окрестностей с зелеными холмами, мимо которых, извиваясь, струится Марна, множеством садов и знаменитыми тянущимися за горизонт лесами, до сих пор изобилующими всевозможной дичью, начиная от банальных куропаток, кроликов и зайцев, и кончая кабанами, козами и даже изредка лисицей.

Накануне в городке происходили какие-то беспорядки, но сегодня этого никак не скажешь. Какие могут быть серьезные беспорядки в городке, в котором в десять часов утра на улицах совершенно пусто и в который из Парижа в полупустом экспрессе приезжает десяток пассажиров — пять солдат на побывку, две ветхие старушки и трое местных городских мужей, нагруженных парижскими кулками! Через пять минут ходьбы я уже на загородном шоссе, через полчаса — в первой от города деревушке, за нею в поле, а еще через полчаса по запаху укропа и виднеющимся жел-

тым пятнам подсолнуха догадываюсь, что добрался до места назначения. Деревенские собаки в России встретили бы гостя бешеным лаем. Местный, французского происхождения, Полкан только всжливово обнюхивает меня, справедливо полагая, что шуметь нет никаких оснований. Подымаюсь на пригорок, и все русское имение как на ладони. Посреди белый двухэтажный дом, небольшой цветник с розами и красными маками, за которым идут ровные грядки огорода и ряды фруктовых деревьев, а дальше поле огурцов, являющихся основной культурой хозяйства.

Восемь лет тому назад ферма с 7 гектарами истощенной земли, сдававшаяся в аренду за 600 фр., была приобретена Н.А. Костаревым за 45 тысяч. Для хлебопашества или скотоводства ферма была мала, а для огородничества или птицеводства слишком велика и не приспособлена, находясь к тому же и далеко от рынка. Но после необходимых усовершенствований она вполне удовлетворяла задачам того плана, который заранее детально был разработан новым владельцем. В основу плана входило изготовление тех специфически русских продуктов, каких не хватало на русском рынке Парижа, и затем переработка всего специально выращенного сырья в фабрикаты, считая, что при таком способе консервы будут лучше, как приготовленные из свежих продуктов, а заработок при приложении двойной работы будет максимальным.

Для осуществления этих задач пришлось произвести большую предварительную работу и множество общих улучшений. Необходимо было отремонтировать дом и внутренние постройки, оборудовать консервную мастерскую, осушить и перекопать болото и обнаруженные при этом родники ввести в общую систему орошения, налаженную с помощью труб и собирательных цистерн, выбрать камни, огородить некоторые уголья и т.д. Главное же заключалось в том, чтобы сделать 4 гектара окружающей усадьбу земли настолько плодородной, чтобы она явилась базой для намеченных планом интенсивных культур. Все это помимо немалого труда потребовало и средств, и в дело пришлось вложить вместе с покупной ценой почти 100 тысяч.

— Работы было, да и теперь много, — говорит мне бодрый жизнерадостный хозяин, уже пожилой, но еще силь-

ный и здоровый человек, — ведь нас всего трое: я, жена, как видите, уже пожилая, да сын. Первое время работали втроем, без наемного труда, и только по мере уверенности в успехе стали переходить на наемный, доводя иногда до 10 человек поденных рабочих. Приходилось учитывать все: свои способности и силы, средства, условия рынка, себестоимость сырья и фабрикатов. Одновременно приходилось вести постоянные опыты над культурами и по их переработке, изучать и следить за тем, что делается в этой области во Франции и за границей, в особенности в Америке.

— В первую голову мы стали солить огурцы, стерилизуя их в жестяных банках. Оставаясь как бы свежепросоленными, огурцы получили широкое распространение, и мы стали постепенно увеличивать площадь посева и производство. Одновременно надо было найти подходящий сорт огурцов. Выписанные русские семена давали хорошие плоды, но плохой урожай, а пришедшие из Америки по урожайности и качествам оказались великолепными, но были слишком подвержены различным заболеваниям и хуже поддавались консервированию. Я стал скрещивать те и другие, производя пальцем опыление, и в результате вывел новую, свою собственную, породу, стоящую выше русских и американцев. Теперь мы ежегодно продаем 20 тысяч кило малосольных огурцов. Появился новый потребитель. Если эмигранты стали отвыкать от русских продуктов, к ним стали привыкать французы. Мои оптовики готовы взять у меня втрое больше, чем я выпускаю ежегодно, но придется развивать дело осторожно и в соответствии с другими хозяйственными статьями. Хозяйство требует гармонии, все должно расти и развиваться параллельно и помогая одно другому. Кроме огурцов мы выращиваем ягоды и фрукты, выпуская это на рынок тоже в переработанном виде, т.е. варим варенье, желе, делаем пастилу и киевское сушеное варенье. Наибольшим спросом пользуется малина, клубника и вишня. Много пришлось повозиться, пока тут удалось достигнуть хороших результатов. Надо было найти и посадить специальные сорта черной смородины, русской вишни, клубники и малины. Три года тому назад раздобыл отличную рябину. А там, видите, маленькие деревья? Это настоящая антоновка и уже дает плоды. Всего у меня посажено 500 плодовых деревьев.

— Для сушки пришлось устроить особую огневую сушилку. Тут же сушим и укроп, который оказался в большом спросе и пока вне конкуренции. Здесь в старом коровнике мастерская с трехсильным бензиновым мотором и закуток, где герметически закупориваются консервы: огурцы, варенье, компоты, томат, зеленый горошек. Все эти заготовки, а также овощи, фрукты, куры, мед с небольшой пасеки, очень удешевляют и разнообразят наш стол, являясь, в сущности, тем же доходом.

— Каковы же в общем материальные результаты вашего хозяйства, если это не секрет? — Чего же секретничать. Могу все рассказать. Истратив в первые два года все свои средства на приобретение фермы, ее устройство и самую жизнь, т.е. примерно 100 тысяч, на третий год мы сбалансировали бюджет и стали жить уже с получаемых доходов. Доход прогрессивно увеличивается, хотя денег мы все же не видим. Все, что остается от расходов на жизнь, на которую решено тратить 12 тысяч в год на троих, хотя можно бы тратить при своих продуктах и гораздо меньше, не более 5-6 тысяч, — вкладывается на улучшение и расширение дела. Таким образом, мы не богаты, но сыты, одеты, в теплом собственном доме, независимы и не имеем долгов. Главная же наша прибыль все в том же процессе, который одухотворил наш труд и примирил со старостью. Валовой доход намного превысил стоимость фермы, и, если бы нам предложили сейчас за нее не сто, а триста тысяч, я бы не продал. Нужно очень подумать, что лучше: рента ли в 15 тысяч, считая 5 процентов годовых, или все то, что дает и обещает дать ферма.

Мы еще долго осматриваем действительно гармоничное и образцовое хозяйство старого плодОВОДА. Н.А. Костарев показывает мне свои разнообразные насаждения и усовершенствования, рассказывает об опытах с зеленым удобрением, которые он осуществляет по американскому методу, о ценах на навоз, о производимых им анализах французской почвы, местных вредителях-кроликах. Заглядываем в конюшню, где жует сено громадная лошадь, прекрасная работница, но столь боящаяся автомобилей-камионов¹, что выехать с ней в город невозможно; осматриваем курятник и сарай, в котором ждут урожая сложенные в штабеля сверкающие жестяные банки. Из сада открывается совсем леви-

тановский пейзаж: пригорки, поля с копнами снятых хлебов, лента далекой реки и бесконечный лес.

— Нет, знаете, в нашем положении только в таком углу на лоне природы и чувствуешь себя покойно, удовлетворенно и словно у себя дома. Никаких стеснений не ощущаем, экономические и политические грозы проходят где-то мимо. Живи себе мирно и работай. Нам, русским, не бежать от таких хозяйств, а наоборот, устраиваться в них при первой возможности надо!

Последние новости, 9 авг. 1936, № 5616

2. ВЕЧЕР В САНСЕ

Большой деревянный барак, предоставленный заводоуправлением артистическому кружку русских рабочих, постепенно наполняется публикой. Простая фабричная постройка стараниями русской колонии уже давно превращена в чистый, ярко освещенный электричеством зал. Общими усилиями побелили и расписали зелеными гирляндами стены, соорудили сцену, с декорациями, занавесом и суфлерской будкой, расставили столы и стали от поры до времени устраивать заканчивающиеся танцами концерты и спектакли.

Такие собрания — подлинное событие в колонии. К нему готовятся задолго, тщательно разрабатывается и репетируется программа, распределяются роли и выступления любителей-музыкантов. Барышни и дамы шьют наряды, молодежь разрисовывает акварелью напечатанные на гектографе программки, солидные люди обдумывают меню и организацию буфета. Провинциальная жизнь однообразна: фабрика, домашнее хозяйство, гости, изредка кинематограф — вот и все, чем живут люди. Естественно, что благотворительный вечер в пользу приходской церкви или инвалидов — встряхивающий всех праздник, о котором после долго говорят.

Забытым очарованием милой русской провинции веет от него. Зал уже полон, все в сборе, и все друг друга прекрасно знают. Целый цветник принарядившихся барышень с нетерпением ждет танцев, да заезжий лектор задержал

начало артистической программы. Но вот, уже играет небольшой любительский оркестр, потом ряд номеров исполняет отлично спевшийся церковный хор и, наконец, разыгрывается откуда-то выкопанный старинный водевиль «Дядюшкин поцелуй». Новую струю в типично русскую программу вносит выступление местного Мориса Шевалье, рабочего-француза, обнаружившего свои таланты во время недавней забастовки, когда засевшие на целую неделю на фабрике рабочие развлекались импровизированными концертами. Сближение с французами сказывается и в публике, среди которой немало сансской рабочей молодежи и даже несколько солдат в голубых мундирах. Явившись на вечер целой компанией, они вежливо спросили «кель реглеман дю суарэ»² и затем этот «реглеман» тщательно выполняли, т.е. слушали «Дядюшкин поцелуй» и русские романсы, пили пиво, ели пирожки с капустой и чинно танцевали с барышнями, а когда тех не хватало, даже друг с другом.

В середине концерта — нормальный перерыв. Перегорела пробка, и зал погружается во мрак. Щелкают зажигалки, распорядители кидаются за свечами, а загримированный к следующему водевилю — к электротехнику. Через несколько минут все в порядке. Зал снова освещен, и на сцене новые артистические силы: отличный виолончелист, бывший офицер, выучившийся музыке уже за годы изгнания в часы досугов от десятилетней заводской работы, скрипач, певица «в своем репертуаре», затем идет второй водевиль, во время которого чудесно нарисованное голубое небо медленно сползает с потолка и серой тучей закрывает верхнюю часть задней, изображающей море, декорации.

— Эх, черт, — негромко раздается в зале, — смотрите, как небо подкачалось! Ну ничего, погода стоит дождливая, получается даже правдоподобнее.

Когда все кончено, наступают танцы, а в перерыве лотерея, главным выигрышем которой является зажаренная жирная утка — пожертвование русского птицевода. Вечер переходит в глубокую ночь и затягивается по русскому обычаю до утра. За столиком беседую с русскими старожилками, расспрашивая о местной жизни, условиях работы и положении русской колонии.

Древний Санс, одна из последних твердынь независимой Галлии, много видел на своем веку. Это был когда-то

один из важнейших центров французского католицизма со своими сохранившимися знаменитым собором, в котором Людовик Святой венчался с Маргаритой Прованской, многочисленными монастырями, семинарией и синодальным дворцом, где помещается теперь музей. Во главе своих войск здесь побывала Жанна д'Арк. В середине шестнадцатого века тут пронеслась волна кровавой религиозной борьбы с массовыми убийствами протестантов. Во время революции на площади работала гильотина, и исчезло большинство церквей. В 1815 году с окружающих холмов по городу палили русские артиллеристы, а во время франко-прусской войны его занимали немцы. Нужно удивляться, что в Сансе еще так много сохранилось старины, целых улиц, до наших дней не утративших средневекового облика, и украшенных деревянной резьбой ветхих домишек.

Русские стали появляться здесь с 1922 года, привлекаемые работой на больших заводах — вагоностроительном Пон и Муссон и производящем несгораемые кассы заводе Фише. Работы тогда было много, заводы шли полным ходом и нуждались в рабочей силе. Двое русских специалистов устроились неплохо: С.М. Нестеров инженером, а И.С. Шлемов контрометром³.

В провинциальных уголках, где не было никаких комитетов и организаций, устроившиеся русские старательно помогали устраиваться другим. У них скоро налаживались связи с местными влиятельными французами, их начинали ценить как хороших, добросовестных работников. А это помогало им устраивать и продвигать своих соотечественников, что часто требовало большой настойчивости и подлинного желания помочь ближним.

Они же потом налаживали общественность, создавали кружки и объединения, выхлопывали помещения для приходской церкви или клуба, в трудных случаях являлись посредниками между бесправным эмигрантом и администрацией, отстаивая увольняемых и лишенных права работать. В судьбе русской эмиграции эти бескорыстные люди, действующие по собственному доброму почину и, так сказать, без всяких полномочий, играют часто более реальную роль, нежели обличенные полномочиями учреждения, коим всем этим ведать надлежит. Работа их протекает без шума и рекламы, которой они не ждут, а знают о них только те,

кто непосредственно получил от них помощь или поддержку, да маленькие провинциальные колонии, при их содействии стремящиеся улучшить положение своих членов.

Забота друг о друге в русских углах очень сильна и, каковы бы ни были отношения, — случается ведь ссориться по пустякам, — стоит с кем-нибудь стрястись какой-нибудь беде — болезнь, увольнение с завода, лишение права на труд, несчастный случай, — все спешат на помощь. Наиболее энергичные начинают бегать по домам, собирая по подписным листам. Нажимаются пружины соответствующих знакомств, используются связи с городскими или фабричными властями. В результате беготни и общих волнений что-то налаживается, выхлопывается рабочая карта, пособие или устраивается работа. Человек здесь не чувствует себя заброшенным и одиноким, каким оказывается обыкновенно в большом центре. Поэтому и жизненные удары ощущаются не столь резко. Да и самые удары, каких немало в эмигрантской жизни, все эти затруднения с работой, процентной нормой, ограничениями, регистрациями и возобновлениями разрешения работать, протекают как-то мягче, словно передаются из центра в провинциальную периферию через вату.

За исключением немногих, русские живут собственно не в Сансе, а в Сен-Клеман, предместье Санса, где заводом им предоставлены маленькие домики-бараки за 20 фр. В месяц. Домики завода Фише не так уж хороши и, к несчастью, расположены, как и все заводские постройки, в болотистом месте. Зимой в них, как ни топи, сыро, и многие квартиранты успели нажать ревматизм. Но в каждом по две комнаты, электрическое освещение и, что особенно ценно, — вокруг большой участок земли, где русские развели облегчающие хозяйство огороды со всеми необходимыми овощами, устроили курятники, завели кроликов и уток. Администрация завода русских не теснит, предоставляя каждому делать на своем участке, кто что хочет, но с другой стороны не заботится и о благоустройстве помещений. При увольнении рабочего за сокращением производства или в случае инвалидности, его не лишают права пользоваться помещением. Для увеличения огорода желающим предоставляется за совершенно ничтожную плату, нося-

шую больше формальный характер, дополнительные участки на заводской земле.

Тут французов почти нет. Они не гонятся за заводскими помещениями, живя в своих. Поселок совсем русский. В огородах среди грядок капусты и огурцов торчат неизменные подсолнухи. Под окнами пышно цветут яркие георгины. Всюду слышна русская речь, на улице встречаешь русских ребятишек, все больше малышей уже сансского происхождения и учеников очень уважаемого колонией священника отца С. Синкевича, который в приходской школе обучает их русскому языку, истории и любви к далекой, невиданной ими, родной стране.

За лугом и тенистой рощей, в которой растет много опять, маринуемых хорошими хозяйками на зиму вместо боровиков, у самого завода, в простом бараке — небольшая церковь, созданная и содержимая общими усилиями и самообложением прихожан. Несколько поодаль от группы барakov — ряд двухэтажных новых домов, по две-три квартиры в каждом, предоставленных рабочим вагоностроительного завода. Эти уже гораздо благоустроеннее и выглядят наряднее. В них тоже живут несколько русских семей, рядом с французскими, но русские индивидуалисты предпочитают скромные особняки-бараки, где каждый сам себе хозяин и в свободное от фабричной работы время — скромный фермер-огородник или птицевод.

В хорошие времена рабочие зарабатывали по тысяче и больше в месяц. Семейные успели кое-что отложить и улучшить свое хозяйство, холостые жили широко, помогая трактирщику-французу у завода сильно увеличить оборот и возвести второй этаж в доме. Потом пришел кризис, сокращение производства нескороаемых шкапов, увольнение рабочих и уменьшение заработной платы, упавшей в некоторых отраслях до двух франков в час. Жить стало труднее, но помогали огороды и птичники. Уменьшились и обороты содержателя городского кафе. Поляков просто рассчитали и услали в Польшу, расползлись и многие русские, кто куда, но большей части в Париж. Пронеслось широко охватившее эмиграцию переселенческое движение, многие готовы были сниматься с насиженного места и пускаться за океан. Потом это утихло. По новым правилам увеличена заработная плата, и люди, по десять и больше лет не знав-

шие, что такое оплаченный отпуск и двухнедельный отдых, его получили. Никто никуда, конечно, не уезжает, отдавая свободные дни огороду и курам. На 600-800 франков в месяц здесь можно жить, а если работает жена, то увеличивать сбережения. Летом крепкие казачки нанимаются на огороды полоть или убирать свеклу, зарабатывая до восьмисот франков в месяц. Все это не богатство, но при почти бесплатной квартире, собственных овощах и курах, дает возможность жить и нормально питаться, не отказывая себе в самом необходимом.

— Нельзя Бога гневить, — говорит отец Сергей, — многие совсем неплохо живут и кое-что про черный день имеют. Безработных и нищенствующих у нас нет. С завода русских стараются не увольнять. Хозяева ими довольны. Колония живет мирно, отношения с местным населением и французскими рабочими неплохие. На начальство тоже жаловаться нельзя, всегда старается поддержать разумное начинание и, по возможности, сгладить применение суровых законов против рабочих-иностранцев.

— Много волнений в последнее время вызывает вопрос вступления русских в синдикаты, — рассказывает другой старожил. — Одни уже записались, другие, несмотря на оказываемое давление товарищей-французов, воздерживаются. С одной стороны, избегают вмешательства в политическую борьбу или опасаются, как бы чего не вышло, с другой, — не хотят принимать участия хотя и в профессиональном, но, по существу, конечно, политическом движении, считая себя работающими, а не рабочими. Очень трудно в этом отношении наше эмигрантское положение! Не знаем, что и делать. Ну, а что в России слышно, вам ведь из Парижа это виднее?

Этим заканчиваются обычно все разговоры в русских углах. Трепещущий, живой интерес к России тут не убит ни курами, ни огородом, ни заводом. Это — не Парагвай.

Последние новости, 14 авг. 1936, № 5621

3. ТРОЯНЦЫ

Широко распространившееся во Франции автобусное сообщение имеет много преимуществ перед железной до-

рогой. В автобусе проникаешь в самую глубь страны. Он быстро мчится по большим дорогам, сворачивает на проселочные, забегает в отдаленные углы, внутрь маленьких городков и деревень, останавливаясь не как поезд у ничего не говорящих и всюду одинаковых вокзалов, а на центральных площадях, у какой-нибудь корчмы или почты, рядом со старой облупившейся церковью, в которую на мессу плетутся деревенские старушки в черных платьях. Тут же увидишь украшенную красной звездой, с серпом и молотом, мэрию коммуны. Мелькнет протянутый через улицу плакат с надписью: «Да здравствует Народный фронт!», и опять поля, луга, поросшие сочной зеленью пригорки и кое-где трудящиеся крестьяне.

В такой поездке воочию убеждаешься, как живописна и благодатна эта страна, как много в ней пустующей и не возделанной еще земли, не осушенных болот, больших лесов, и как на все эти блага мало людей. Нельзя и сравнить с Голландией, Бельгией, Германией, где давно использован каждый клочок, и чуть не на каждом шагу видишь возящегося на огороде или в поле земледельца. Пустынны деревушки, тихо и безлюдно в старинных городках, мало молодежи и еще меньше детей. Чувствуется, что страна живет накопленным богатством, но не растет.

Чем ближе к большому городу, тем больше в автобусе пассажиров. Разговоры о дождливом лете, о том, что стоящий в копнах хлеб не просыхает, а пора бы убирать. Рядом со мною чахлое французское дитя, наряженное в ленты, кружева и белые перчатки, смиренно возвращающееся к родителям в Труа от деревенской бабушки, у которой «а ля кампань» оно провело, нисколько не поправившись и даже не загорев, традиционную неделю. Автомобиль делает несколько поворотов, замедляя ход въезжает в город и скоро останавливается на площади.

Труа — старинный большой город и центр чулочной промышленности. Но меня интересует не археология и не чулки, а те, кто волею судьбы участвует в их производстве. Среди достопримечательностей внимание больше привлекает на перекрестке француженка-старушка в поношенном салопе и старомодной черной шляпке с флажком в одной руке и военным крестом на ленте в другой. Она сусливо перебегает с угла на угол, помахивает полинявшим трех-

цветным флагом и скороговоркой повторяет: — Победа! Любите родину! Будьте патриотами!

Говорят, в день заключения перемирия, восемнадцать лет назад у нее последними жертвами войны одновременно пали муж и сын. С тех пор во всякую погоду с утра до вечера, словно на службе, она обходит перекрестки и говорит одно и то же. У нее небольшое состояние, она не просит подаяния, никого не беспокоит и не причиняет зла. К ней все привыкли и оставили в покое. Старушка, конечно, помешалась, но то, что она твердит, в конце концов, совсем не глупо.

Мне предстоит трудная задача: среди пустырей и редких, без номеров строений, на окраине города, разыскать русского «троянца», как они себя тут называют. Иду наудачу, надеясь кого-нибудь встретить, но кругом ни души, кроме какой-то бабы, на мой вопрос бросающей:

— Муо итальен, компран па франсэ...⁴

Однако сказывается привычка находить русских по внешним признакам. Около небольшого каменного домика вижу подсолнечник и безошибочно определяю, что хозяин русский. Ни в доме, ни на огороде, ни в сарайчике, где жмутся в клетках кролики, а за загородкой кудахчут куры, нет никого.

— Да вы напрасно ищете, хозяева скоро придут. Вероятно, за травой для кроликов на луг ушли, — раздается с дороги. — Вы лучше помогите мне выбраться из ямы. Видите, колесо увязло, и я ни с места!

У калитки, на размокшей от дождя глинистой дорожке наклонилось самодвижущееся кресло, в каких передвигаются безногие инвалиды, а в нем русский старик. Выкаत्याю его из грязи и узнаю, что угадал верно. Передо мной как раз тот дом, какой мне нужно.

— Я тут уже давно, больше десяти лет, — рассказывает старик, — из Парижа сюда пешком пришел, вот с этой палкой. При содействии знакомого по Петербургу француз получил работу на трикотажной фабрике. Несколько лет работал, а потом отнялись ноги, и меня устроили в местную богадельню. Живу среди полусумасшедших. Кормят плохо. Тяжело, но, нечего делать: такова судьба. Ну, а что у вас в Париже о России слышно? Правда ли, что там большие перемены?

— А вы сами-то кем в России были?

— Служил чиновником. Действительный статский советник. Но это не важно, а что вы о новой конституции скажете? Интересно, ужасно интересно, к чему это там идет!..

Пока беседуем со стариком, появляется, с наполненной травой тачкой, хозяин. Это местный деятель христианского трудового движения, помощник церковного старосты, бывший унтер-офицер и участник обеих войн, а теперь рабочий чулочной фабрики и маленький домовладелец и огородник.

В Труа русских много, с детьми наберется более четырехсот, преимущественно казаков. Начали устраиваться здесь на фабриках «Жюльен» и «Клеман Моро» с 1924 года, приезжая из Сербии и Болгарии и сначала отработывая свои контракты в других местах. Одним из пионеров оказался устроившийся сперва инженером, а потом и директором одной из самых крупных фабрик добрейший человек, добровольно заменяющий в Труа наши комитеты в деле действительной защиты русских интересов и поддержки соотечественников, инженер-химик Л.В. Рубачев. Мне не удалось повидать его, но все, что я о нем слышал, свидетельствует, что это как раз из той породы русских талантливых людей, которые нигде не пропадают, везде умеют создать себе завоеванное подлинным трудом и знанием положение, а устроившись, стараются по мере сил помогать ближним. С кем ни случись беда, бегут к Рубачеву, который здесь и «эмигрантский комитет» и «скорая помощь».

До кризиса заработка на фабриках были недурны. Когда надежды на скорое возвращение пропали, русские начали обзаводиться семьями и хозяйством. За отсутствием своих, женились на работницах галичанках или польках. Потом пошли дети, на дешевой загородной земле росли двухэтажные каменные домики и разводились огороды. Подрядчик-итальянец охотно предоставлял в кредит строительные материалы, а фабрика давала небольшие, отработываемые потом, ссуды. Таких домов теперь немало и, проходя по улице поселка, то там, то здесь видишь за чугунной решеткой по фасаду окруженные типично русским садом, с увитой зеленью беседкой, в которой ссмыя пьет чай, и огородом с торчащими подсолнечниками каменные особнячки с надворными постройками для домашней птицы и велосипедов.

Девять лет назад в предоставленном заводе помещении колония создала церковь, в содержании которой принимает, правда, теперь участие только небольшая группа. Казаки что-то мудрили, долго между собой совещались, а затем явились к старосте, заявили, что троянская станица «не предряшила, а ряшила» участия в содержании церкви не принимать. Впрочем, большинство казаков в церковь ходят и детей крестят. «Ряшения» на этот счет, по-видимому, не произошло, а дело ведется по старине.

Никакой эмигрантской политики тут давно нет, осталась одна экономика, и кроме казачьих объединений, донской станицы и кубанского хутора, единственной деятельной организацией, во многом облегчающей положение русских, является рабочий синдикат христианского трудового движения. Многие в него уже записались, а правление и преданный движению энергичный секретарь его, И.П. Зюлков, стараясь расширить работу синдиката, проявляют усиленную активность. Они отвоевывают для лишенных рабочей карты⁵ право на труд, выхлопывают пособия для русских безработных, которого до последнего времени не выдавали, устраивают на работу или добывают неимущим продукты из синдикального кооператива.

— Безработных у нас немного, — рассказывает мне И.П. Зюлков. — В прошлом году предприятие Сен Жюльен закрылось. Больше тридцати русских осталось без средств.

Начались хлопоты с одной стороны на фабрике Клеман Моро, дирекция которой согласилась принять самых многосемейных, с другой — на Сен Жюльен. Директор последней согласился выдать уволенным пособие в размере полуторамесячного оклада. В результате все понемножку утряслось, а потом одни стали снова устраиваться на работу, кто по протекции, кто сам, остальные стали получать шомаж⁶. Конечно, многим, особенно с большими семьями, приходится трудно, но кто в хорошие времена успел обзавестись хозяйством и своим домом, переживают кризис гораздо легче.

— Русские в качестве рабочих поставили себя так хорошо, что если бы не процентная норма, мы безработицы не знали вовсе! На многих производствах наши идут на такой труд, о каком французы и слышать не хотят. Французский рабочий, в крайнем случае, поработает неделю-

две, и снова на шомаж: то работа ему слишком тяжела, то платят мало. Да и жить-то оказывается наши умеют с толком. Вот посмотрите, у местных рабочих таких домов и огородов, как у наших казаков, в помине нет. Фабрика предоставила всем желающим участки по 500-700 метров с платой по 10 франков в год за весь участок. Русские сразу расхватали, французы же огородами не интересовались, а теперь завидуют нам бесправным. «Русские богатые, — говорят, — у них вон какие дома!» Это мы-то богатые! Все создано собственными руками и сбережениями от тяжелого труда. Я вот приношу теперь в «кэнзен»⁷ 260 франков, да жена недавно устроилась на работу и получает 150-200. Все свободное время возимся на огороде, с кроликами, курами, да еще с общественными делами в правлении христианского синдиката или с хлопотами за своих членов и других русских.

— Дело часто не в том, сколько человек зарабатывает, — говорит мне степенный хозяйственный казак. — В конце концов все что-то зарабатывают и чем-то живут, а в том, как и на что человек тратит. Другой, смотришь, и немного получает, а живет прилично, одет чисто, да и на черный день имеет. Дали бы нам права, а жить и работать мы умеем. Смотрите, и без прав многие вон как развернулись!

Казак прав: некоторые, действительно, развернулись.

Последние новости, 22 авг. 1936, № 5629

4. СТАЛЬ И ЖЕЛЕЗО

В долине, между грядami поросших лесом гор, тянутся сливающиеся одно с другим местечки: Аянж, Алыранж, Нильванж, Кнютанж. Когда-то они именовались Нильвингенами и Кнютингенами. После войны окончания названий переделаны на французский лад, но это мало изменило дело, и первое впечатление от Лотарингии такое, точно из Франции попал в другую страну.

Французской речи почти не слышно, и даже трамвайный кондуктор в Аянже на обращенный к нему по-французски вопрос невозмутимо отвечает по-немецки. Местные люди, рабочие, служащие, лавочники, все так говорят здесь, и только обучающиеся в школах дети между собой

болтают по-французски, неизменно переходя дома на родной язык.

— Во Франции я не бывал, не случилось, — отвечают тут не только туземцы, но и приехавшие на местные заводы двенадцать лет назад прямо с болгарских рудников русские эмигранты.

Перерабатывающие красную землю Арденн в железо и сталь заводы — это нервные центры, вокруг которых идет жизнь края. Во всех этих «анжах» металлургический завод — источник благ, которыми живут люди. Поэтому тут «все для завода, и все через завод». Он превращает руду в металл, производит кокс, светильный газ и электрическую энергию. Он дает заработок тысячам людей, он создал самые поселки с улицами 3-этажных домов для рабочих, служащих и мастеров, особняки для инженеров и целые дворцы для директоров. Завод соорудил цепь надземных, подземных и подвесных дорог, по которым доставляется из шахт руда и вывозится железо.

Привлекая к себе рабочих, завод старался и удержать их, организуя больничные кассы, амбулатории, зубо-врачебные кабинеты, кооперативы и кинематографы. В этом отношении он шел навстречу самым различным нуждам и начинаниям. Итальянцам помогали устраивать таверны, полякам — выписывать из Польши ксендзов и учителей, русским предоставлялись помещения для церквей и клубов.

Заводу нужна руда и люди. Первая выбирается в окрестных горах и в вагонетках на стальных тросах доставляется к доменным печам; вторые выписывались из всех стран, где только можно их найти. Когда исчерпываются ближайшие запасы содержащей металл земли, за нею проникают в самую глубь Арденн. Забрасываются старые шахты и вырываются новые. Одновременно совершенствуется производство, чтобы не слишком зависеть от непостоянного человеческого материала и, по возможности, уменьшить его состав. В последнее время в этом многого удалось достигнуть, сильно сократив количество рабочих рук, несколько не уменьшая и даже усилив производство.

Такова душа и разум гигантского завода. Его тело столь же сложно и многообразно. Это — нагромождение каменных корпусов, торчащих к небу труб, мастерских, изрыгающих желтые клубы доменных печей, каких-то железо-

бетонных сооружений, перекидных мостов, бесконечных складов, контор и дворов с грудями каменного угля, извести и отработанного шлака. Над всем этим — тучи белой известковой и черной угольной пыли, а выше — стелющийся над ложиной дым заводских труб и паровозов. Из гигантских жерл вырываются огненные языки. Кое-где прорываются избытки сжигаемых за перепроизводством и светящихся ночью, словно яркие костры, газов. Все извержения смешиваются в одну массу, и она сплошной пеленой покрывает местность, загораживая от людей небо.

Даже в летний солнечный день здесь какой-то особый свет, полуденное солнце кажется красным, и на него свободно можно смотреть. Но люди привыкают и к красному солнцу, и к необычному дневному свету, и к отравленному газами и дымом воздуху. Люди ко всему привыкают, и если случается серьезно захворать, больничная касса посылает в санаторию подлечиться. Человек отдохнет недели две на свежем воздухе и снова на завод, где из раскаленной печи струится расплавленный металл, или в мастерскую, в которой температура так высока, что, по правилам, работают полчаса, а потом столько же отдыхают.

Там всегда что-то шипит, лязгает, скрежещет. И это не прерывается ни днем, ни ночью, ни в самый большой праздник. Смена рабочих сменяет смену, одни уходят, идут другие: немцы, поляки, итальянцы, русские. Одни спят, другие возятся у раскаленных до бела болванок в тысячи килограммов весом или у газовых резервуаров. Доменные печи не могут остановиться, поток железа бежит непрерывно и требует надзора и рабочих рук.

Завод обслуживается населением целого городка. По уступам уже разработанной горы и от главной магистрали тянутся прямые линии улиц. На одних — большие, однообразной постройки, законченные дома для рабочих. В каждом по несколько маленьких, в две-три комнаты, квартир с кухней и открытым, увешанным просушивающимся бельем балконом. На других — небольшие особняки с огородами для мастеров и конгрометров. Дальше — отдельные комфортабельные дома с цветниками и садами для инженеров, потом для директоров отделов и, наконец, громадный особняк с тенистым парком и оранжереей для главного директора завода.

Каждая категория живет замкнутой, не смешивающейся с другими жизнью, соприкасаясь лишь на заводе и поскольку требует работа: рабочие, по национальностям, с рабочими, мастера с мастерами, конторщики с конторщиками, инженеры с инженерами. Над всем же царит верховный городской жрец — главный директор.

Высший персонал, начиная с инженеров — большей частью французы, ниже идут туземцы, объясняющиеся между собой и отдающие распоряжения рабочим по-немецки. В рабочем поселке суэта и вавилонская смесь языков и наречий: лотарингское подобие немецкого, итальянский, польский, украинский, русский; толпы играющих в пыли черных головных и белобрых ребятшек; запах поджаренного в простом масле лука. Все это живет, растет, старится и умирает под дымовой завесой и вечный грохот заводских машин для стали и железа, которые предоставляют хлеб и кров.

До кризиса средний месячный заработок рабочего составлял 800 франков. Потом заводоуправление стало сокращать плату и уменьшать штаты, одновременно увеличивая производительность мастерских. Зарплата упала до 500 франков и ниже. Жить становилось тяжелее, так как цены на продукты были те же, что в Париже, и спасали только рабочая квартира, с платой в 30-40 франков в месяц, дешевый уголь и маленькие огороды. С семьей при таких условиях можно было кое-как существовать. О том, чтобы откладывать, нельзя было и думать. Семьи у рабочих тут большие, и четверо детей совсем не редкость.

После пронесшейся весной волны забастовок положение несколько изменилось. Заводоуправление довольно быстро и легко пошло навстречу требованиям синдикатов и установило новые ставки. Теперь чернорабочий получает 25 франков в день, специалист от 28 до 31 фр. и профессионал — 30-33 фр., в зависимости от категории и стажа. Установлен и восьмичасовой рабочий день, в который включается полчаса на отдых и платный отпуск, не достигающий, однако, двух недель.

Введение рабочих делегаций урегулировало отношения с администрацией и командным персоналом. Впрочем, на начальство рабочие и, в частности, русские не жалуются. Большой мягкостью и широким гуманизмом оно, как известно, нигде не блещет. Жизнь сурова, и принципы фабричных отношений сводятся к одному: даешь работу!

В Лотарингии это немного смягчено давно уже, с немецких времен, организованной помощью больным, лечением их в городских больницах и санаториях Эльзаса, поддержкой многосемейных, посылкой на льготных основаниях слабых детей на море, в Берк-пляж, кооперацией и т.д. Все виды помощи оказываются независимо от национальности рабочего, которая тут не играет заметной роли.

В военное время мастера привыкли к иному составу рабочих. В приспособленных для производства снарядов мастерских работали тогда, главным образом, военнопленные, с которыми, в особенности русскими, у немцев принято было не стесняться. Дисциплина была военная, работа — каторжная, паек — голодный. Пленные жили в деревянных сырых бараках, питались гнилой картошкой и умирали сотнями. На кладбище в соседнем Тионвилле, куда перенесены кости русских жертв плена и кровопролитных битв, правильными рядами стоят кресты с русскими именами, а над ними, на холме, скромный памятник пленному унтер-офицеру Гусеву с надписью на трех языках:

«Расстреляйте меня, но делать снаряды против своих я не стану!»

В Нильванже сохранился трагический рассказ и о другом пленном русском солдате. Его заставили работать у расплавленного металла. Немец-мастер особенно возненавидел этого солдата. Он измывался над несчастным, назначал не в очередь к работе у раскаленной печи, бранил русской свиньей, случалось и толкнуть или ударить. Солдат молчал, продолжая упорно отказываться от работы в снарядной мастерской. Однажды, получив очередной пинок, он неожиданно схватил мастера сзади за пояс и вместе с ним бросился в котел с расплавленным железом. Все произошло в одно мгновение. Сильный немец не успел и крикнуть, а наблюдавшие — и ахнуть, как сверкающий металл зашипел и поглотил обоих. Через несколько секунд железо растворило в ничто и врагов, и самую вражду. Немца и русского солдата словно не бывало. После этого случая обращение с пленными, говорят, несколько смягчилось.

Когда в 1924 году сюда стали прибывать партии русских эмигрантов, новый директор, француз, проживший 17 лет в России и состоявший там директором крупного металлургического завода, распорядился, чтобы с русскими

обращались особо вежливо, не тыкали и не забывали, что все это — бывшие офицеры и интеллигенты. Старым лотарингским мастерам трудно было усвоить директорское распоряжение, случалось и отступать от него, но в конце концов, год за годом, русские сами заставили уважать себя.

Через один нильванжский завод прошло свыше 4.000 русских. Прибывали партиями из Болгарии, Сербии, Константинополя и Польши. Выполнив заключенные контракты, одни перебирались в манивший большинство Париж, другие — на соседние заводы, третьи тянулись к земледелию на фермах. Директор нильванжского завода недоумевал:

— Почему русские так быстро уходят, почему не остаются здесь? — спрашивал он остающихся. — Завод ведь старается делать для них все, что может.

Но русские не засиживались и расползались. Уехавшие в Париж устраивались на Рено или шоферами, зарабатывали больше, восхищаясь столицей, свободной городской жизнью и соблазняли остальных. Потом пришла безработица и ограничения для иностранцев. Париж показал иное лицо, и те, кто остался на лотарингских заводах, радуются, что в свое время избежали парижского соблазна. Завод не кажется уже огнедышащим Молохом, а наладившаяся за десять лет своя общественная жизнь, скромный уют, а главное, уверенность в завтрашнем дне дали то, чего не дал и не мог дать Париж. Привычка — великое дело, а человек ко всему привыкает.

От тысяч побывавших здесь остались сотни. Эти утряслись, обзавелись семьями, вкрапились в многоязычную рабочую среду и живут своеобразным эмигрантским уездом, довольствуясь тем, что послала русская судьба. Если восемь лет тому назад можно было стремиться к чему-нибудь иному, теперь об этом нельзя и думать. Завод как-никак дает кусок хлеба и не гонит. Где это найдешь?

Последние новости, 30 авг. 1936, № 5637

5. НИЛЬВАНЖСКИЙ УЕЗД

В западных губерниях довоенной России немало было уездных городков, где русские составляли самую незначи-

тельную часть населения. Обыкновенно это была группа чиновников разных ведомств с чадами и домочадцами, священник, дьякон, несколько купцов, случайных обывателей и домовладельцев, воинский начальник, уездный врач. С семьями их набиралось сотня-две, в более крупных несколько побольше. Вне служебной и деловой сферы они не смешивались с населением и жили обособленной жизнью, центрами которой являлись церковь и общественное собрание.

В клубах была читальня, биллиард, а несколько раз в году в нем устраивались любительские спектакли и танцевальные вечера с легким буфетом и кроушоном. Политических организаций тут не существовало, но бывали различные политические настроения. Случались и расхождения, иерархия отношений, борьба самолюбий, но положение русских было привилегированное, служба не тяжелая, жизнь протекала мирно и спокойно и единственными событиями служили приезд епархиального архиерея или нового чиновника на место переведенного в губернский город.

По образцу и подобию такого городка складывается и быт эмигрантской колонии в иностранном захолустье. Правда, положение русских тут совсем не командное и даже не привилегированное, а как раз напротив, работа ничего общего не имеет с тем, что приходилось делать бывшим чиновникам и их женам, иерархия весьма условная, а с годами и вовсе утрачивает значение — внешне общественная жизнь чрезвычайно напоминает ушедший в прошлое уклад.

Но есть существенные отличия и много нового, чего не знала уездная провинция и что создалось только в изгнании. Это демократизм, крепнущая с годами солидарность, посильная взаимопомощь и то, к чему у нас когда-то зывали и что раскачивалось с большим трудом независимо от пресловутых «препон» — общественная инициатива и самодетельность. Предоставленные самим себе, заброшенные в иностранные дыры, нищие поручики и капитаны военного времени, которых эмигрантские центры больше поучали, чем поддерживали и опекали, за десять лет проявили столько общественного инстинкта, такта и упорства, какими не всегда могут похвалиться и сами центры.

Сознание необходимости объединения родилось в Нильванже в первый же год появления здесь крупных пар-

тий с Балкан и из Польши. Трудностей было немало, и прежде всего — недостаток средств, отсутствие помещения и неподготовленность и непривычка бывших военных к общественной работе.

— Дивизией командовать легче, чем вести собрание, — утирая со лба пот, говорил генерал, председательствовавший на учредительном собрании союза русских эмигрантов.

Однако полковники и генералы вскоре научились вести собрания. Выборное собрание выхлопотало у завода помещение для Русского дома, который постепенно обрстал необходимой мебелью, библиотекой в тысячи переплетенных томов, читальней, бильярдом, пианино, радиоаппаратом. Одновременно создавались касса взаимопомощи, фонды для выдачи пособий больным и престарелым, стипендий учащимся и запасный капитал. После нескольких лет исканий и неудач вопрос самообложения был радикально разрешен путем соглашения с дирекцией завода о ежемесячных вычетах из заработка каждого русского рабочего по пяти франков.

Параллельно шла организация церкви и русской школы. Никаких ассигнований на все это получить было нельзя. Кто мог их дать? Завод предоставил сначала простой барак, а потом и более подходящее помещение в каменном доме. Вся переделка и приспособление его для церкви, амвон, иконостас, иконы, облачение создавались общим трудом. Отец Семен, чуть ли не единственный в эмиграции священник, переехавший в эмиграцию со своим маленьким приходом, из бывших военных, интернированных Польшей бредовских частей, деятельно принялся за работу.

Это не старый уездный городок, и все приходилось делать и создавать самим. В свободное от завода время общественная жизнь забила ключом. Обставлялся Русский дом, на стенах появились изображающие Московский кремль картины собственных художников, постепенно заводились библиотеки: общая в клубе и детская при школе, производились выборы должностных лиц. Люди прибывали, одни оседали, другие, проработав некоторое время на заводах, устремлялись в Париж. Независимо от общей организационной работы образовывались различные группировки, переживались те же, что и всюду, надежды, увлечения и разочарования, откалывались самоопределявшиеся украинцы, пылав-

шие неожиданной ненавистью к России и русскому языку, происходили горячие дебаты и частные собрания, пока через десяток лет колония не утряслась и не уgomонилась.

Отголоском этих возникавших бурь является до сих пор висящее в русском доме объявление: «Ввиду обострения политической борьбы между членами в стенах Русского дома, что весьма вредно отражается на жизни союза, правление постановило запретить всякие политические доклады. Ни один доклад или лекция, содержащие критику или идеологический разбор какой-либо политической группировки из эмиграции не разрешается».

Теперь в напоминающем благоустроенное уездное соборанис Русском доме устраиваются только культурно-просветительныс доклады, концерты с выступлениями местных любителей, и вечера, на которых под небольшой оркестр танцуют не только вальсы и фокстроты, но и старинный краковяк. Публика собирается попозже, часам к 11-ти — на метро ведь спешить не надо — и вечера затягиваются до утра. Настроение приподнятое, все так приоделись, что и не скажешь, что это — только что закончившие свой трудовой день рабочие. По постановлению правления в буфете водки нет. Разрешены только вино и пиво. Ежегодно устраивается особо пышный бал в пользу русских инвалидов. Тут налицо вся колония, и валовой сбор достигает трех тысяч франков!

Два раза в неделю в клубе идут занятия в трех группах приходской школы, любимого детища отца Семена. Подстриженные под машинку, в русских рубашках мальчики и с двойными косичками девочки чинно сидят за столом и под руководством учительниц читают, пишут и декламируют крыловские басни и пушкинские стихи. Русскую школу, насчитывающую теперь 53 ученика при пяти учителях, проходят все дети. Стараниями преданных делу людей и вопреки зловещим предсказаниям, денационализации русских детей не только во втором, но и в растущем третьем поколении не произошло. Получилось даже нечто совсем иное.

— В начале эмигрантской жизни, — рассказывает мне добывающий себе кусок хлеба малярным ремеслом и обучающий детей русской истории генерал, — очень трудно было внушить родителям необходимость посылки детей в

школу. Люди не только своих детей, но и самих себя старались поскорее перестроить на французский лад, и к русскому учению относились, как к пустому и несерьезному делу. Потом, как присмотрелись да обтерлись, начали понимать, что надо сохранять в детях национальное лицо. Школа твердо вошла в быт и стала делать свое дело. Глухая провинция оказалась в этом, пожалуй, крепче и здоровее крупных городов. Эмигранты многое стали понимать. Сказать, как про Бурбонов, что мы ничего не забыли и ничему не научились — совсем нельзя! Посмотрите, какой такт проявлен во время забастовки! Как ни далеки все были во время подобных выступлений, не сговариваясь и единодушно так повели себя, что вызвали полное уважение и одобрение и рабочих организаций, и администрации. Теперь, когда введены новые ставки, большинство русских оказались в категориях специалистов и профессионалов. Да и действительно многие сделались великолепными мастерами и по-настоящему знают свое дело.

— Петя, Петя! Зачем ты лазишь по заборам? Разве ты немец? Ты русский мальчик, и должен прилично вести себя, возвращаясь из школы, — кричит учительница Лидия Ивановна, и пятилетний Петя, на мой вопрос, кто он такой, заявляющий: «Я донской казак!» сконфуженно мнется, понимая, что русскому мальчику лазить по заборам никак нельзя.

Все эти Пети, Коли, Тани, поколение, явившееся на свет Божий совсем недавно, учится и во французских школах, чувствует себя здесь как дома, ибо никакого другого дома не знало и не знает, но это настоящие русские дети. Они поют в церковном хоре и твердят в школе:

— Ямщик сидит на облучке, в тулупе, красном кушаке, — свободно объясняя загадочные облучки, тулупы, ямщики и кушаки... Эти вещи для них, конечно, не реальны, как часто, впрочем, бывало и в России городским детям. Но дело не в тулупах вовсе. Не грех было бы нильванжским Петям и спутать их с облучками. Важнее то общее, что дает им школа и что предохраняет от того, чтобы стать безымянной человеческой пылью в пыли унылых заводских поселков.

Школа, церковь, Русский дом, все создавалось и существует на общие гроши. Польская учительница получает от польского правительства за обучение детей 900 франков в

месяц и квартиру. В таком же положении учительница-итальянка. Русская ничего не получает, кроме ежемесячного пособия от прихода в 50 франков. Но все русские несут общественные обязанности бесплатно: члены эмигрантского комитета, старшины клуба, учителя и весь состав церковного причта.

— У нас-то именно и образовалась подлинная коммуна, — говорит отец Семен, бесплатно выполняющий все требы и предлагающий желающим, кто хочет и кто может, опустить лепту в приходскую кружку. Наш принцип: все бесплатно. Школа бесплатно учит, снабжает книгами и пособиями, по мере возможности дает стипендию на продолжение образования. Один из наших прихожан таким образом успел окончить Богословский институт в Париже, другой учился в университете в Нанси, третий в консерватории. Средства собираются по подписным листам, и все участвуют в этом. Дают от скудных крох и на больных вдов, инвалидов, на школу, церковь, какую-нибудь экстренную помощь. Денег, конечно, у нас мало, но, вот, живем, и бодрости и веры не теряем!..

Отец Семен, несмотря на годы, полон энергии и оптимизма. То одно надо сделать, то другое, то кого-то провести, то окрестить новорожденного младенца или отслужить за 40 километров, в местечке, где затерялось пять русских семей, вечерню. Летняя белая ряса и седая борода его мелькают по Кнютанжу, Нильванжу, Омеркуру и привлекают толпы детей всех национальностей, встречающих «месье пастора» криком: «Бон-бон!»

Из необъятного кармана рясы во все стороны летят конфеты, а худая белая фигура уже мчится дальше. Приход большой, к обслуживанию его нужд прибавляются частые поездки по окрестностям, к русским студентам в Нанси, в Мец, в люксембургский Эш. Куда по железной дороге, или в автокаре, куда, чтобы подешевле было, пешком. Отец Семен всегда в движении. Его все знают в этих краях. Границы он переходит без документов, словно никаких преград и не существует.

— В Люксембурге это пустяки, почти рядом, — говорит он, — а вот как-то пришла телеграмма из Баварии. Умер на заводе русский рабочий, бывший офицер. Просят похоронить. Я, как был, так и сел в поезд, да и поехал с телеграм-

мой. Французы выпустили, немцы впустили без разговоров, а там прислали за мной заводской автомобиль, и прямо на завод. Администрация устроила торжественные похороны, с оркестром музыки. Заслуженные русским офицером, в боях с теми же немцами, ордена несли перед гробом на подушке. Похоронил, и сейчас же домой. Ко мне привыкли. Мне виз не надо: крест да ряса, вот и все мои удостоверения!..

В предоставленной ему дирекцией завода комнате — груды выписанных для школы книг, наглядных пособий, старых иллюстрированных журналов и самое элементарное хозяйство: спиртовка, чайник и сковородка.

— Есть надо поменьше, — постоянно приговаривает отец Семен. — К чему это? Чайку попил, и хватит. Брюхо добра не помнит!..

Последние новости, 4 сент. 1936, № 5642

6. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Повествовательный рассказ в беседах горожан теперь большая редкость. Это искусство просто вымирает. Людям стало некогда рассказывать и нет времени слушать. При встречах мелькнет отрывочный обмен мнений по поводу стремительных событий, традиционное «как поживаете», и разговор бежит дальше, а то и вовсе прервется, так как сами собеседники успели разбежаться. Не то — в провинции, где некуда спешить и не иссякает у людей интерес друг к другу.

Собравшись за чашкой чаю, тут по-прежнему предаются воспоминаниям о давно прошедших и недавних событиях, и занимательный повествователь всегда пользуется вниманием. Всё, правда, давно рассказано, и чужие биографии известны часто лучше, чем обывателям столиц собственные, но свежему слушателю охотно расскажут вновь и о самом себе, и о пережитом.

Для исследователя быта особенно интересны женские рассказы. Мужчины предпочитают порассуждать, а в рассказах о местной жизни сообщают цифры выданных из кассы ссуд или приобретенных для клубной библиотеки книг. Все это очень важно и интересно, но никакой карти-

ны по книгам и пособиям не составишь. Другое дело, когда хлебосольная хозяйюшка расскажет о мелочах жизни, которые оденут плотью и нальют кровью безжизненный скелет цифр и комитетских постановлений. От настоящего переходишь к прошлому, и вся пестрая путаница эмигрантского существования встанет от Севастополя до Кнютанжа. Побывав в нескольких домах, узнаешь столько невероятных историй и тяжких драм, каких хватило бы на много поколений, а выпало все на одно. Узнаешь об одиноких стариках, тоскующих по оставленным в России семьям, в которых уже выросли и поженились дети, о волне не прекращавшихся все эти годы продовольственных посылок, о том, как заходивший потолковать о прошлом старичок-полковник десять лет жил от посылки до посылки, какие он отправлял жене из скромных заработков каждый триместр, пока из России не пришло встревожившее письмо: посылки больше не посылать и писем не писать.

Полковник совсем растерялся, работа из рук валилась, ходил, как сам не свой, потужил два месяца и покончил жизнь самоубийством.

— А вот была у нас история, — рассказывает хозяйка, — когда, пять лет тому назад, жена убила мужа. Мы с ними по соседству жили. Постоянно они чего-то ссорились. Разные люди были. Он — культурный человек и старый офицер, она — простая женщина и злая-презлая. Сошлись уже в беженской суматохе. Однажды у нас собрались гости, пьем чай. Вдруг раздается рядом сухой треск, словно палку сломали, и через некоторое время входит с револьвером в руке она. Села в углу и говорит: «все кончено, я его убила». Потом пришли жандармы, убийцу арестовали, пошли допросы, пять месяцев продержали в тюрьме, потом судили и оправдали. А она, как вышла из тюрьмы, так сейчас же к нам. «Простите, — говорит, — что обеспокоила, не знаете ли, где мои вещи?» «Вещи, — говорю, — забрали жандармы, я ничего не знаю». «Да я все от них уже получила, а только вот каталки для теста не досчиталась, хотела спросить, не завалилась ли где у вас». «Не знаю, — говорю, — нет у меня вашей каталки». «Ужасно жалко, такая была хорошая каталка, так я к ней привыкла. Ну, простите, будьте здоровы; я в Париж уезжаю», — кивнула головой, будто ни в чем не бывало, и ушла. А я до сих пор без содрогания не могу этого вечера вспомнить.

От эмигрантских драм разговор переходит на прошлое, к событиям константинопольской, и болгарской жизни, и эвакуационным воспоминаниям. Чего-чего только не пришлось пережить в те страшные годы, когда в горячке и суете мужа теряли жен, родители — детей; а над всеми витала смерть!

— Перехода по Черному морю забыть нельзя! — вспоминает немолодая дама-казачка. — В Севастополе нас погрузили на большой, едва державшийся на воде старый пароход. Машины были испорчены, двигаться самостоятельно он уже не мог и тащился на буксире. Народу набито было столько, что по палубе пройти невозможно. До Босфора плыли десять дней, голодные, холодные, среди сыпнотифозных. Погода стояла ужасная, то дождь, то ветер, а волны так и заливали палубу, где мы ютились. Помню, сидел, дрожа от холода, калмык, а с ним рядом его сестра. Калмычка зачем-то встала и прошла по палубе несколько шагов. Вдруг налетает громадная волна, всех нас водой обдала, как из ушата. Смотрим, а калмычки и след простыл. Брат поглядел каким-то мутным взором по сторонам и весь застыл. Сидит молчит... А на другой день опять то же. Ехал капитан с женой, сидели они как-то, прижавшись один к другому. Под утро капитан задремал, а жена встала и только что подошла к борту, как совсем даже небольшая волна в мгновение ока ее смыла. На наших глазах все произошло. Никто не успел и крикнуть. А капитан все дремлет. Немного спустя проснулся, смотрит — жены нет. Забеспокоился, стал спрашивать, не видели ли, куда жена ушла. А мы глаза отводим, плечами пожимаем, ни у кого не хватает духу сказать правду. Погода стала проясняться. Капитан бегаёт, пробираясь среди лежащих и сидящих пассажиров, все ищет, наконец, кричит громко:

— Да скажите, господа, где моя жена, никто ее не видел?
— Твоя жена там, где моя сестра, — тягуче отвечает калмык.

Капитан весь изменился в лице и в утреннем рассвете стал совсем серым. Минуту постоял безмолвно, подошел к борту и бросился в море. Никто даже не встал, как сидели, так и остались, не двинулись даже. Только головы у всех опустились...

— Много, много пережито, что и говорить. Да и теперь немало драм. На днях вот похоронили молодую женщину.

Остался муж-вдовец с двумя маленькими детьми. В больнице сказали, что запущенная сахарная болезнь. Недавно от туберкулеза умер русский рабочий, офицер. Осталась вдова с ребенком. За десять лет много людей сгорело от чахотки и иных болезней. А у других случается и радость, но это реже. Одна у нас дама все убивалась, что сына потеряла. Много лет печатала объявления, разыскивала, все безрезультатно, и вдруг, совершенно неожиданно узнала, что сын жив, здоров, служит моряком в Марселе, женился на француженке, имеет собственный дом. Она съездила к нему и счастлива. Иногда судьба и балует людей, и не все сплошь мрачно. Многие переженились и хорошо живут, появились дети и новые заботы, а жизнь приобрела смысл. Словом, всего бывает.

В большом рабочем доме, сплошь населенном русскими, вдова недавно умершего заводского служащего рассказывает мне свою незаурядную историю.

Вера Петровна — не беженка. Она легально выехала с сыном из России, стремясь к заброшенному на французский завод мужу. В год революции она заканчивала образование на филологическом факультете университета, а муж, молодой офицер, воевал на фронте. Потом кратковременная встреча, возвращение в родной город, первые опыты педагогической работы в провинциальной гимназии, рождение сына, — и судьба снова разлучает молодых супругов. Она с ребенком остается, а он оказывается в армии, на юге и потом за границей.

— Вы понимаете, что со мною было? — нервно говорит Вера Петровна. — Я не находила себе места и, когда получила известие от мужа из заграницы, решила, несмотря на уговоры близких, во что бы то ни стало ехать. Пробраться за границу легально тогда было невозможно. Я продала все, что могла, всякие безделушки и пустячки, наменяла каких-то злотых и золотых рублей и отправилась в местечко к польской границе. Нашлись знакомые, которые свели меня с контрабандистами, а те за сто золотых рублей согласились перевести с ребенком через границу. Это было в 1923 году, война уже окончилась, но пограничная зона строго охранялась. Трехлетнего сына я привязала себе на плечи и с двумя проводниками пустилась ночью в путь. Туман был такой, что в двух шагах ничего не видно. Вышли за дерев-

ню, идем по болоту, кругом кусты, кочки, потом маленький лесок, вдруг окрик:

— Кто идет? Мы замерли и ни с места: туман все скрывает. Опять окрик, и два близких выстрела из винтовки. Чувствую острую боль в груди и животе и, поддерживая ребенка, осторожно опускаюсь с ним на землю. Проходит некоторое время в полной тишине, потом слышим шаги удаляющихся красноармейцев. Уже не ощущаю боли, но всю меня охватывает слабость. Мальчик молчит, из раны течет кровь и, кажется, вываливаются внутренности. Вот-вот вовсе потеряю сознание. Сквозь полузабытье слышу слова:

— Куда же идти? Видишь, баба ранена, подняться не может, умирает, видно.

— Что же теперь делать? — звучит другой голос.

— Да бросим ее, а сами лесом назад.

— А как же быть с мальчонкой? — Да что с мальчонкой, отвяжем его, да и в овраг. Самим спастись надо. Напрягаю последние усилия, открываю глаза и прошу довести меня до хутора в двух верстах. Клянусь, что их не выдам и буду молчать. Переговорив между собою, проводники соглашаются меня вести. Отвязываю, словно онемевшего, ребенка, один берет его на руки, другой — под руку меня. Я волочусь, прижав к животу руки, не чувствуя ничего, с одной мыслью: дойти во что бы то ни стало!

Вот, наконец, и хутор. Дотаскиваемся до дома, проводники немедленно исчезают, а я одна с ребенком, перед незнакомыми людьми. Открывшей двери женщине успеваю пробормотать адрес сестры, куда прошу отправить ребенка, но силюсь и никак не могу произнести название улицы.

Дальше начинается чудо. Добрые люди вносят меня в дом, с риском для себя вызывают врача, лечат, ходят за мною и ребенком, и через месяца полтора я оправляюсь. За это время уже несколько раз приходили красноармейцы и приезжали следственные власти, допрашивали хозяев, которые ничего не могли сказать. Когда я несколько поправилась, пришли допрашивать меня. Я что-то путала о том, что перебиралась одна, без проводников, в Польшу, к тетке. Потом вызвали к допросу в уездный город, где шайка контрабандистов была раскрыта и схвачены десятки людей. Возникло дело о каком-то шпионаже, перевозке за границу драгоценностей и т.д. Меня привлекли по этому же делу и

арестовали, послав сначала в губернский город, а потом на Лубянку, в Москву. Просидела в тюрьме шесть месяцев, по ночам вызывали к допросу, грозили расстрелять, я сама что-то кричала и требовала, чтобы меня скорее расстреляли. Рана в груди зажила, но на животе продолжала гноиться. Меня перевели в больницу. Потом был тайный суд, одних расстреляли, меня же оправдали и отпустили. Сейчас же, разумеется, помчалась за сыном, а через месяц устроилась в маленьком городке учительницей в среднюю школу. Началась обычная советская работа. Утром — в школе, днем — на рабочих курсах, вечером — по ликвидации безграмотности или на заседаниях. Платили мне хорошо, не голодала, даже откладывать могла. В городке я пользовалась большим уважением. Мальчик рос на попечении старой няньки. Бывало, приду с уроков, пока ем, нянька тут же меня переобувает в валенки, чтобы после обеда скорей бежать на железнодорожные курсы. Приходилось учить рабочих всему, чему прикажут. Одно время даже геометрию преподавала и лекции на разные темы читала. В общественной жизни тоже пришлось принимать некоторое участие, и как-то, по назначению райкома, даже выступить обвинителем в показательном суде над каким-то вором. Произнесла прокурорскую речь, вора моего закатали на шесть месяцев в тюрьму, а я сидела и дрожала: окончится срок заключения, вернется вор и поблагодарит, как следует, «прокурора»? Но ничего, все обошлось.

Так жила четыре года, а мыслями по-прежнему стремилась к мужу. Зажившая в легких рана стала иногда давать себя знать. Врачи предписали отдых и теплый климат. Я стала проситься для лечения за границу. Как это было ни трудно, но местное начальство ко мне благоволило и выхлопотало заграничный отпуск. Так и удалось выехать вполне законно и спокойно, а встретив мужа, могла ли я вернуться? Осталась, конечно, с ним, счастливо и мирно жили, трудились, воспитывали сына, а потом пришла болезнь, и муж скорострительно умер. Теперь снова одна я с моим мальчиком, без средств и без работы. Рабочей карты нет, права переехать в другой департамент тоже нет. Пойди его тут добейся! Мальчика надо учить, да и самой жить. Что будешь делать? Трудная наша русская жизнь.

Последние новости, 12 сент. 1936, № 5650

7. ЛЮКСЕМБУРГ

Великое герцогство Люксембургское совсем не велико. Это одно из немногих оставшихся в Европе микроскопических государств, созданных и охраняемых великими державами по разным политическим мотивам. В сравнении с княжеством Монако и республикой Андоррой это еще громадное государство, в котором несколько культурных городов с десятками тысяч населения, разнообразная промышленность, торговля, сельское хозяйство и расположенная на скале живописная столица. Когда-то здесь возвышалась одна из лучших европейских крепостей. Но Люксембург был объявлен нейтральным государством, укрепления были скрыты, и на месте их разбит парк.

Жизнь тут дешева и налажена намного лучше, чем в больших соседних странах. Отсутствие расходов на вооружение давало возможность больше заботиться о благоустройстве и народном образовании. Всеобщее обязательное обучение осуществилось уже в 1881 году, а гражданские свободы вошли буквально в плоть и кровь населения. Царствовавший в прошлом веке великий герцог Адольф, обещав в произнесенной им в палате депутатов речи твердо защищать свободу, независимость страны и неприкосновенность ее учреждений, говорил:

— Короли умирают, династии угасают, а народы остаются.

Проходили годы, над миром пронеслись задевавшие и маленький Люксембург бури, сменялись великие герцоги и герцогини, но народ жил и, ревниво отстаивая свою независимость, увеличивал свое благосостояние. Наличие в горах руды позволяло развивать металлургическую промышленность и даже привлекать иностранных рабочих, среди которых оказалось и несколько сотен русских. Когда ударил кризис, начались увольнения. Итальянцы и поляки потянулись по домам, а русские увлеклись Парагваем. Число их к этому времени еще увеличилось за счет высылавшихся из Франции. Последние, часто опустившиеся люди, добродетелями не блистали, и правительство охотно пошло навстречу переселенческому плану. Образовалось несколько групп, переселенцам было выдано пособие по четыре тысячи на человека, и люди партиями поплыли за океан.

Благодаря этому количество русских уменьшилось до 200 с небольшим человек, включая женщин и детей.

Большинство работает на рудниках и металлургических заводах, на керамической фабрике в Вассербиллиге и на кожевенной в Вильце. Некоторые устроились на мелких предприятиях, на постройках и сельскохозяйственных работах. Из устроенных лучше — единицы: Б.В. Толли — старшим инженером на фабрике в г.Люксембургс, где благодаря его покровительству русские рабочие занимают хорошие места, Н.А. Львов — чиновником, несколько ремесленников и коммерсантов-евреев в разных городах.

Зарботки простых рабочих невелики, в среднем 800-1000 местных франков — на заводах, до 2 тысяч — на рудниках и 500-600 фр. — на мелких предприятиях. Особым циркуляром правительство уравнило русских в отношении труда с туземцами. Никаких ограничений не введено, и обычный документ, обеспечивающий право на постоянное жительство, дает и право на труд. Однако получить этот документ теперь обыкновенно невозможно, а люди, лишившиеся почему-либо работы, с большим трудом находят ее снова. Безработица, хотя и небольшая, есть здесь, но безработным выдается в течение года пособие в размере 12 фр. в день и по франку на ребенка.

Среди русских в связи с общим ухудшением положения есть очень нуждающиеся, в особенности больные и престарелые. Немало появилось здесь и выславшихся из Франции, зачастую приходивших оборванными и совершенно истощенными. В последнее время этот поток прекратился, но раньше творилось нечто ужасное. Выслаемые приходили без документов, без гроша в кармане, усталые, измученные сидением в тюрьмах и затравленные, как звери. От труда они отвыкли, да по состоянию своего душевного и физического здоровья и не могли им заниматься. Соотечественникам в Люксембурге приходилось им помогать, предоставлять ночлег, снабжать обувью и одеждой.

У некоторых создавалось безвыходное положение и на другой почве. Так, работавший с 1919 года на французском заводе в Лотарингии русский женился на гражданке Люксембурга из соседнего Эша и, поселившись с женой в этом городе, где у нес была квартирка, стал ежедневно ходить на работу во Францию. Для местных жителей переход через

границу не представляет затруднений, и можно, отправляясь утром на французский завод, вечером возвращаться домой в Эш. Однако трудовая инспекция спохватилась и лишила русского рабочей карты. Считавший его хорошим специалистом-слесарем завод долго хлопотал, но ничего не мог поделать и вынужден был уволить. Русский остался без работы и пособия, а в Люксембурге, как работавший во Франции, тоже не получил документа на постоянное пребывание, следовательно, права на труд.

В результате несчастный слесарь буквально повис в воздухе между границ и ограничительных постановлений. Он по-прежнему живет с женой в Эше, никто его оттуда не выселяет. В этом отношении практика люксембургских властей очень гуманна. Но работать он не имеет права. На беду он и по-немецки-то неважно говорит, и только по-немецки объясняющаяся жена шутиливо жалуется:

— Он у меня ничего не понимает, что нужно, и понимает только то, чего не надо!..

В конце концов, что же и понять в таком невероятном положении и, может быть, самое лучшее именно понимать то, чего с точки зрения доброй рациональности совсем не надо? Во всяком случае, как-то жить в маленьком, уютном Эше можно. Большой хлеб в два с половиной кило стоит 4 люксембургских франка, т.е. два французских, фунт мяса — три франка, папиросы и великолепное пиво невероятно дешевы, у всех есть свои огороды, а за безукоризненно чистую квартиру в три комнаты со всеми удобствами люди платят 130 франков, т.е. 65 французских!

Эш выгодно отличается и внешним видом от лотарингских фабричных городков. Веселее выглядят рабочие бараки в заводском районе, улицы содержатся в образцовой чистоте, всюду цветы, а от вокзала, по склонам уже опустошенных от железной руды гор, разбит прекрасный парк с благоухающими насаждениями роз, тенистых лип и зеленеющих газонов. Отработанная гора не брошена на произвол судьбы, а превращена в место отдыха для населения.

Русских в Эше мало, два-три десятка, впрочем, и вездехо их не так уж много, как казалось. Крупнейшая колония в Вассербиллиге насчитывает всего 52 человека, остальные живут разбросано по всему герцогству, в одиночку или небольшими группами. Из общественных организаций

действует отделение воинского союза, оказывающего помощь и поддержку своим членам, и более широкое русское национальное объединение, построенное на демократических началах и преследующее преимущественно филантропические задачи.

Объединение ставит своей целью преимущественно защиту интересов русских в Люксембурге, выхлопывает документы, приискивает работу, организовало регулярные богослужения, небольшую библиотеку и, по мере сил, оказывает впадшим в нужду материальную поддержку. На него же пало выполнение даже консульских задач: переводы и заверка всевозможных русских документов, поручительств в судах и хлопоты об отмене высылки. К сожалению, у организации никаких средств нет, поддержки от центральных эмигрантских учреждений она не получает, и все ограничивается скромными членскими взносами и сборами по подписным листам. Возглавляет ее ежегодно избираемое правление, в составе трех безвозмездно выполняющих свои обязанности русских рабочих, бывшего товарища прокурора В.А. Бельского, В.Л. Герляха и П.И. Прикот.

— После Бельгии, где мне пришлось работать в угольных шахтах, — рассказывает мне бывший петербургский студент, а теперь люксембургский старожил, — я почувствовал себя несравненно лучше. Ведь там нужно было работать в угольной норе, меньше метра высотой, лежа на спине или на боку и обливаясь потом. Работа была совершенно каторжной, а заработок ничтожным. Но надо было отрабатывать контракт. А как отработал, сразу перебрался сюда, устроился на завод и работаю здесь уже много лет. Рабочих на заводе несколько тысяч, но русских только 25. Отношение к нам хорошее. Вознаграждение, правда, небольшое, но после французских забастовок администрация сама увеличила на 7 процентов ставки заработной платы и ввела отпуска, из расчета пять дней отдыха за год службы. Словом, к общему удовольствию, все обошлось без забастовок,

— Была у нас пора волнений, когда возникла парагвайская лихорадка. Совпало это, да отчасти и вызывалось, сокращением рабочих рук на фабрике в Вильце, когда там уволены были почти все русские. В Парагвай уехало 400 человек, а теперь многие пишут отчаянные письма. Оставшиеся постепенно стали утрясаться. Одни, спустя немного,

снова поступили на ту же работу, другие устроились иначе. Приходилось атаковать соответствующие учреждения с просьбами за безработных. Там отвечали:

— Не можете же вы требовать, чтобы мы к русским относились лучше, чем к люксембуржцам! — Но всех устроили, и на «шомаже» живет, кажется, только один старик.

Квартирка русского рабочего, с которым я беседую о люксембургской жизни, совсем не производит впечатления «рабочей». Это — три комнаты в удобном трехэтажном доме, обставленные солидно и со вкусом и отличающиеся той чистотой, которая напоминает голландские квартиры рабочих Гааги. На тысячу местных франков здесь, оказывается, можно скромно, но пристойно жить семье и даже воспитывать ребенка. Разумеется, не все это умеют, и у других внешняя сторона жизни складывается иначе.

Искусство наладить жизнь на заработок металлургического рабочего, за годы тяжелой физической работы несколько не опуститься и даже внешне выглядеть, словно семья живет старым укладом среднего достатка интеллигента, растить и обучать сына, не терять интереса ко всему окружающему и принимать самое деятельное участие в общественной жизни, все это — чрезвычайно важное искусство, которым держится многотрудное беженское существование. Не всем это, надо признаться, дано. Бывает, и опускаются люди, не только внешне, но и духовно. Другим и опускаться нечего: стояли и раньше не высоко и просто покатались вниз. Но таких до невероятия мало.

Казалось бы, одинаковые условия должны рождать те же последствия. Но жизнь и люди не укладываются в схемы, и то, что создается в одном месте, при тех же внешних обстоятельствах никак не может образоваться в другом. В каком-нибудь Нильванже людям удалось наладить свой скромный быт и ряд общепольных учреждений, а рядом, где-нибудь в Ромба, люди разбились на три казачьих станицы с тремя враждующими атаманами и безнадежно заблудились между эмигрантских сосен. В Труа казаки построили себе отличные дома, а в той же Ромба десять лет ютятся в унылой заводской казарме и никак не могут сговориться об открытии русской школы.

— Все у нас, у русских, разнообразно и индивидуально, — говорит мне старый полковник, нынешний рабочий,

случайный собеседник. — Вот вам два интеллигента, одной среды и воспитания. Оба — рабочие на заводе. Один в часы досуга строчил проекты будущего российского землеустройства, посылая свои писания куда-то в Париж, на скопленные деньги даже купил пишущую машинку. Потом неожиданно захворал и недавно нищим умер. Другой первые годы плыл по течению, жил кое-как, а потом, как принялся за дело, так в пять лет поднял целое хозяйство, которое стоит не меньше двухсот тысяч.

— Что же он придумал? — Да ничего особенного, просто стал с женой работать за пятерых. Скопил денег, арендовал луг, купил корову, поставлял в Мец молоко. Потом купил еще корову. Корова отелилась. Недавно я у него гостил и помогал немного по хозяйству, в котором уже восемь коров и две лошади. Работы на заводе он не прекращает, со скотом возится жена, очень интеллигентная и совсем к иному привыкшая в России дама, которая раньше и подойти-то к корове опасалась. Кроме скота, у них отличный огород, куры, большое, взятое в аренду, поле. Одни уже не справляются со всем этим и наняли прислугу. Руки у моего друга стали, словно в железных перчатках: от мозолей согнуть ладонь не может. Но зато твердо стоит на ногах и ничего не боится. Закалился, да и хозяйство всегда прокормить может. И это не исключительный пример. Таких, сумевших серьезно развернуться людей повсюду разбросано немало. Крепкие есть люди среди русских, а некоторые и еще крепче и даже здоровее стали.

Последние новости, 19 сент. 1936, № 5657

8. НОРМАНДИЯ

Ярко-зеленые луга, усыпанные богатым урожаем яблоки-дички, прохладный ветер с близкого океана: это — Нормандия. Тут тоже немало русских. Одни разбросаны по фермам, другие как-то промышляют в Кане, третьи работают на фабриках и заводах.

Работающие на фермах совсем оторвались от русской среды. Это большей частью бывшие солдаты, забывающие уже русский язык и объясняющиеся па фантастической

смеси французского с нижегородским, польским и украинским. До них не доходит ни русская газета, ни книга. Вся жизнь проходит в труде на поле, в коровнике, в конюшне, среди лошадей, коров и молчаливых фермеров-нормандцев. После нескольких лет работы батраком некоторым удалось наладить собственное хозяйство — небольшую арендованную ферму и, женившись на польке или галичанке, вести уединенную крестьянскую жизнь, копаясь в огороде и рассчитывая каждый заработанный в поте лица грош.

Десятка два русских обосновалось в Кане. Окончившая здесь высшую школу молодежь основала даже под руководством одинокого офицера-галлиполийца свособразную коммуну. Сначала жили порознь, едва сводили концы с концами, случалось и голодать. Галлиполиец объединил их, научил кухонному делу, нанял помещение, в котором все и разместились, шутя назвав свой пансион национальной организацией коммунаров или сокращенно — «НОК».

В составе «НОКа» теперь три молодых инженера: химик, строитель и электротехник. Безработный химик промышляет, чем Бог пошлет. Строитель работает за 400 франков в месяц в конторе подрядчика-француза, который им очень дорожит, но увеличивать вознаграждение не собирается. Настоящий образованный инженер за 400 фр. для подрядчика — клад. Он и чертежи исполнить может, и проект составить, и за работой присмотреть. Молодой же инженер, студентом существовавший на полуторафранковое пособие, считает себя чуть не Крезом. Дела электротехника похуже. Он ежедневно ездит в небольшое предприятие и ждет работы. Иногда хозяин дает ему какое-нибудь дело часа на два, которое и оплатит; бывает, инженер возвращается ни с чем. Немного помогают уроки по математике с отстающими учениками местных школ. Строгая экономия, рационализация хозяйства дают возможность существовать в коммунальном «НОКе» каждому по 150 франков в месяц.

— Если бы нам раздобыть хотя бы две тыщонки, — вздыхает галлиполиец, — устроились бы куда лучше. Нашли бы более дешевое и подходящее помещение, сами его обставили бы, завели бы постели и белье. Мы уже прикидывали и так, и этак: меньше двух тысяч не обойдешься, а теперь приходится нанимать меблированные комнаты и

готовить на керосинке. Это удорожает хозяйство. Но все-таки живем, не голодаем, и даже «вида» не теряем!

Вид у коммунаров, действительно, такой, что и не скажешь, что это люди, живущие на 150 франков.

Среди немногих русских ремесленников нахожу в Кане и русского портного, донского казака. Приехал он сюда вместе с другими из Болгарии на металлургический завод, и некоторое время повозился у машины. Не понравился казаку завод: шум, гам, а толку никакого. Вспомнил, что на Лемносе не без успеха пришлось заниматься портняжным ремеслом, и решил открыть мастерскую.

— Сначала понемногу, а потом пошибче, дело и пошло, — рассказывает казак. — Начал с русской клиентуры, за ней потянулись рабочие поляки, а за ними французы. Теперь заказов сколько угодно. Жить можно. Помогал и семье на Дону. Да недавно пришло письмо от сына: «Не беспокойся, батя, — пишет, — мне уже минуло двадцать лет. Мать я сам содержать могу, да и младшие скоро помогать будут, а ты уж в годах — на себя работай!»

Громадный, сильный, он улыбается широкой благодушной улыбкой, в которой вместе с удовлетворением чувствуется и затаенная печаль. О затаенном русские стали говорить мало, все больше о внешнем.

Из вывезенного с родины духовного наследства больше всего порастряслись «чеховские» настроения. Вряд ли и вообще от них что-нибудь у нас осталось. Если по разброшанному по всему миру русским углам еще можно встретить целую галерею видоизмененных временем и обстановкой старых гоголевских знакомцев, начиная с потомков Тараса Бульбы, то совсем перевелись все дяди Вани, Астровы и непонятные Чайки. Жизнь стала сложнее, а люди проще.

Потомок Ильи Ильича Обломова уныло сидит на шомже. Мечтает об именинах сердца — выигрыше в национальной лотерее — неунывающий Манилов, а современная Анна Андреевна так прямо мне и заявляет:

— Очень интересно, что вы напишете о нас. Непременно пришлите номер, а то мы с мужем русских газет не читаем. Французские гораздо интереснее. Мы постоянно читаем «Матэн», «Кандид», в которых пишут французские классики.

Порою судьба переплетает русское с французским. Тогда самой жизнью создаются такие положения, каких не

выдумает и романист. Жил-был здесь солдат экспедиционного корпуса. Застрял во Франции с 17-го года. Человек простой и малограмотный, но статный и высокий, каких нарочно выбирали, чтобы щегольнуть в Европе. Он после окончания войны работал на фермах батраком, потом на заводе. Случайно познакомившись с хорошенькой француженкой, окончившей лицей и консерваторию, солдат скоро покорила ее сердце и с согласия родителей женился. Сначала все шло гладко. Солдат был очень горд, что жена и молодая, и образованная, и на фортепиано играет, словно супруга ротного командира. Француженка души не чаяла в муже, а некоторую простоватость и угловатость манер приписывала загадочной «ам слав». Довольны были и буржуазные родители, что выдали дочь за красивого иностранца, хотя и бедняка. Не всегда ведь в деньгах счастье. Однако странности «славянской души» стали сказываться сильнее. Русский все чаще стал возвращаться домой подвыпив и поколачивать жену-консерваторку. Та плакала, терпела, наконец, не выдержала и бросила его.

В таком же роде произошла история еще фантастичнее. Сошелся русский рабочий, бывший офицер, с француженкой, служившей прислугой у богатого домовладельца и страстного коллекционера-нумизмата. Русский пошел провожать, а потом и завязался настоящий роман. Но не совсем обыкновенен оказался старый домовладелец и нумизмат. Человек одинокий и ученый, он собирал всю жизнь старые монеты, коллекции насекомых, оружие, мебель. Громадный дом был переполнен этим добром. Дальние родственники давно точили зубы на наследство, и когда старик стал слепнуть, чаще навещать к нему. Но преданная прислуга, ставшая верной сиделкой и секретаршей, верно хранила барское добро. Осматривать коллекции приезжали какие-то американцы, предлагавшие купить их, но хозяин вел переговоры о передаче коллекций не то государству, не то муниципалитету. Те не соглашались на его условия, о чем-то спорили. В конце концов старик, рассердившись, заявил, что за границу продавать коллекций не желает, а городу их тоже не отдаст. Вскоре старик умер. Француженка не раз говаривала своему русскому другу: «хозяин наверное оставит мне тысяч тридцать, вот откроем с тобой какое-нибудь дело и заживем вместе». Но завеща-

ние старика превзошло самые смелые надежды. Верной прислуге он оставил все свое состояние в несколько миллионов, включая коллекции, громадный дом и загородную виллу.

Новая миллионерша зажила барыней в большом, напоминавшем музей особняке. Казалось бы, самая пора выходить за друга замуж, но «славянская душа» неожиданно запротестовала: «Жениться не могу. У меня в России жена осталась. Сведений о ней не имею, но разводиться не хочу. А так жить тоже не желаю, — выйдет, что ты меня на свои миллионы покупаешь. Мне твоего не нужно».

Пожив с француженкой месяц, другой, русский исчезает, без копейки денег, где-то работает, потом является снова. Поживет и опять исчезнет. Несчастливая миллионерша уже привыкла к этому и только горюет:

— Такой ведь странный, уходя из дома, хотя бы десять франков взял. А то и на папиросы не возьмет, так ни с чем неведомо куда и пропадает.

Она живет одна, поджидая бескорыстного друга, и рада встрече с русскими. Верна осталась она и памяти умершего хозяина. Как ни уговаривали ее американцы продать старинную мебель и редкие коллекции, она упорно отказывалась. Старик, мол, не хотел, чтобы добро ушло в чужую страну, не отдам и я. Пристрастившись к коллекционерству, француженка стала сама разъезжать по аукционам и скупать старинные вещи. Коллекции растут, во всем поддерживается прежний порядок, но счастья и довольства нет, и жизнь проходит...

Впрочем, все это только эпизоды случайных отношений. Центр русской жизни в Нормандии лежит дальше.

В шести километрах от Кана, в маленьком местечке Коломбель, раскинул свои корпуса и службы громадный завод Шнейдера. Дело поставлено на широкую ногу. Металлургическая промышленность давала отличную прибыль, и предприятие старалось улучшить положение рабочих, для которых тут понастроены поместительные дома, кооперативы, спортивный стадион, больница, школа, баня. Рабочие здесь зарабатывают как будто больше, чем в других местах, и заработок колеблется от 31 до 49 франков в день, в зависимости от категорий. Забастовки на шнейдеровском заводе, во всяком случае, не было, и новые улучшения осуще-

ствились без борьбы. Однако до кризиса положение было еще лучше, а рабочих гораздо больше. Потом шло, как и всюду, сокращение рабочих рук за счет усовершенствования оборудования.

— Вот видите, машина, — показывает мне русский кон-
трометр, — для намотки проволоки. Ее недавно поставили
у нас, работают на ней два человека, а раньше эту работу
исполняло тридцать человек. Из Германии два инженера-
немца привезли.

На заводе легко убедиться, что безработица часто зави-
сит не столько от явлений общих, сколько от невероятной
конкуренции с человеком машины и новых механизмов. В
огромной мастерской, где из вечно пылающих печей вы-
тягиваются рельсы, свешивающиеся с потолка стальные
руки сами подхватывают чугунные болванки и волокут их
к печи. Выскакивающие оттуда рычаги увлекают их внутрь,
где что-то шипит и от чего идет нестерпимый жар. Через
несколько минут раскаленная докрасна полоса железа по
вращающимся на станках цилиндрам сама вылезает на
поверхность и бежит вперед, пока выскочит вся. Воору-
женный ухватом рабочий должен лишь угадать момент и
быстро перевернуть огненную змею на бок. Тотчас же на-
чинают действовать другие цилиндры, снова вовлекающие
ее в тиски. И так непрерывно днем и ночью. Когда при-
сматриваешься к этой работе, кажется, что человеческий
труд играет здесь последнюю роль и самое главное делают
машины. По размерам помещения, людей совсем мало.
Лишь кое-где видны копошащиеся у машин и ожидающие
очередных красных плос человеческие фигуры. Еще
меньше их в так называемом центре, сердце завода, при-
водящем в движение все механизмы. У каждого из вра-
щающихся со скоростью 120 оборотов в минуту гигантских
колес по одному машинисту, а еще недавно стояло по три
человека. Но работа идет полным ходом круглые сутки, и
рабочих надо, хотя и меньше, чем несколько лет назад, все
же очень много. Пустующих рабочих квартир в поселке
нет, и весь Колумбель, в том числе его русское население,
живет этим заводом.

Последние новости, 26 сент. 1936, № 5664

9. ПОД РАЗВЕСИСТОЙ КЛЮКВОЙ

В одной парижской газете недавно появилась подробная корреспонденция о русских в Коломбеле. Статья сопровождалась фотографическими снимками церкви и содержала, кроме общих сведений, личные впечатления и рассуждения о русских специального корреспондента.

К княгиням Гришкам и графиням Васьякам, запивавшим, после бурно проведенной ночи, икру национальным квасом из серебряного самовара, мы давно привыкли. Но развесистая клюква продолжает цвести не в одних беллетристических упражнениях на русские темы.

Прикатит на собственном автомобиле парижский журналист в заводской поселок, зайдет в мелочную лавку спросить, какие тут проживают иностранцы и где можно найти «ле пош рюс», с которым потом и потолкует десять минут и осмотрит церковь. В ограде в это время возятся два запачканных в известке человека. Он все это схватит и, умчавшись в Париж, напишет:

— У всех здесь фамилии оканчиваются на «ов», «ев» и «ски», все новые дома заселены русскими эмигрантами, и единственный ресторан, под названием «Казак», держит бывший офицер знаменитого атамана Бараевского. У церкви возводят дом два русских калмыка. Они громадны и сильны, у них выдающиеся скулы и широкие плоские лица. Они не умеют читать и писать, не понимают ни слова по-французски и никогда не поймут.

— Знают ли эти калмыки, почему они здесь, на нормандском заводе, а не в привольных своих монгольских степях, среди охоты и рыбной ловли? — лирически заканчивается статья.

Все это очень живо и даже доброжелательно, но дело в том, что в новых муниципальных домах русских нет совсем, их туда, как иностранцев, не пускают, и живут там только французы, ресторан называется не «Казак», а «Ермак», а строили сторожку измазанные известкой великороссы, церковный староста и его помощник, оба с закорюченным средним и военным образованием офицеры, скулы у которых выдаются, во всяком случае меньше, чем выдавались у Жоржа Клемансо.

Калмыков здесь и вовсе нет, а тем более православных. Пятнадцать лет назад потянулись сюда на металлургичес-

ский завод русские беженцы и казаки, наряду с поляками, итальянцами, испанцами, которых, всех вместе и каждой национальности порознь, гораздо больше, нежели русских. Для развивавшейся после войны промышленности французских рабочих нигде не хватало, в особенности для тяжелой работы. Заводам приходилось выписывать иностранцев. Потом их постепенно увольняли, по возможности заменяя французами и оставляя лишь у раскаленных марте-новских печей и газомоторов, куда французы шли неохотно. Из иностранцев русские себя зарекомендовали особенно хорошо, и дирекция их не увольняла. Двоих даже произвели в контрметры, других повысили в заработке и заводском ранге. Уже 10 лет назад директор спрашивал, какого улучшения своего быта русские желают. Русские захотели иметь церковь, и администрация ее построила им, на специально отведенном участке, затратив на постройку свыше семнадцати тысяч франков.

Рядом с храмом русские сами построили небольшую колокольню, а в этом уже году соорудили сторожку в две комнаты для старосты и приходской библиотеки и особое здание для школы и собраний. Собственные любители-иконописцы расписали стены церкви иконами святых, «в России прославленных», любитель-регент организовал хор, любители-садоводы завели газоны, фонтаны, цветники. В результате бывший пустырь превратился в живописный уголок и центр русского Коломбеля.

Все русские колонии похожи одна на другую, но по пословице, «что ни город — то норы, что ни деревня — то обычаи», есть свои особенности и в Коломбеле. Вероятно, по разбросанности русских рабочих по громадному поселку и в соседнем Мондевилле и за отсутствием помещения для клуба и собраний, никакого общеэмигрантского объединения, кроме прихода, здесь не создалось, и единственным ходатаем по внешним, так сказать, делам является прекрасно говорящий по-французски молодой священник о. Михаил Соколов.

Значение приходов в провинциальной эмигрантской жизни огромно. Это сразу бросается в глаза и объясняется не какой-либо исключительной религиозностью нашей, а просто тем, что скромная беженская церковь служит связывающим национальным цементом и вместе с тем ней-

тральным центром, вокруг которого обыкновенно смолкают разногласия, амбиции и личные самолюбия. Главным образом, вокруг них создаются школы, библиотеки, хоры и комитеты помощи безработным, и все это вне заострения политических и национальных противоречий, а на «общероссийской великодержавной основе».

Поэтому так горды коломбельцы своей только что расписанной и празднующей десятилетие церковью, и чуть не все мои собеседники прежде всего спешат указать:

— Как вы находите нашу церковь и сад? — произнося это таким тоном, точно соорудили по меньшей мере Исаакиевский собор и разбили «Люксембургский парк».

И как огорчить их, что поражает меня не церковь, не микроскопические фонтаны и колокольня, а те бодрость и внутренняя сила, с какой бывшие офицеры и кандидаты на судебные должности все свободное от исключительно тяжелой работы время отдают созданию этих уголков, не унывают и приспособляются к тому, что послала им судьба! Вызывает это почтительное удивление и у администрации завода, прибывшей во главе с директором на торжественное богослужение. В произнесенной потом за бокалом шампанского речи директор говорит, что французы успели узнать и оценить русских как отличных работников и добрых граждан, и с удовольствием приветствуют прибывшего в Коломбель монсеньора митрополита.

В числе постоянных гостей на всяких русских торжествах неизменно присутствует местный страховой агент-француз. По-русски он ни слова не понимает, а сам может сказать только «Христос Воскресе!» Казаки избрали его почетным казаком станицы, и он очень гордится этим. У бедняги несколько лет назад умерла жена. Оставшись одиноким, он привязался к русским и, хотя не со всеми может как следует объясниться, утверждает, что это не столь уж и важно, ибо русских он и без слов отлично понимает.

— *Moi-même, je suis maintenant moitié-france, moitié-russe!*⁸ — заявляет он мне. Русские не жалуются здесь ни на отношение, ни на условия жизни и работы. Даже бывший коммунист, ставший недавно социалистом, с особенным вниманием относится к русским рабочим и их различным нуждам. Впрочем, русские скромны и о многом не просят.

— Хорошо живем здесь, — говорит мне присевшая на скамейку в церковном саду русская старушка. — Квартиры удобные, по две-три комнаты с кладовой и дебарой⁹, у всех огороды. Всюду электричество, а уголь привезут тебе и сами сложат. Кунить тоже все, что пожелаешь, можешь. Ребят бесплатно в школе учат. За работу платят неплохо. Именины так празднуем, что дай Бог на родине бывало так править! Десять лет тут прожили, а кто больше. Так утряслись, что не знаю, двинемся ли куда. Наша вон соседка, женщина была совсем простая, говорит: «Зачем я в Россию-то поеду, чего я там не видела? В деревне босая гусей пасла, а тут в шелковом белье хожу». Так-то вот. Да много и полегло уже на кладбище наших. Целая улица русских могилок!..

— Умирают много, да и народилось за эти годы немало, — вставляет другая женщина. — Есть семьи, где по пяти ребят, а четверо это и не много еще считается. На детей у нас дирекция жалованья прибавляет и кормящей матери по восемьдесят франков в месяц платит и белье выдает. Одним, что ни год, Бог ребенка посылает, а у других нет как нет. Одни тут все огорчались, что детей не было, в прошлом году пошли в воспитательный дом, взяли себе ребенка и усыновили. Выбирали с толком, чтобы белокурый был и глаза голубые, на русского, значит, похож. И представляете, нашли такого: ну совсем русский — и беленький, и голубоглазый. Владимиром назвали. Чудесный мальчик.

— Да, у нас детей не боятся. Рассуждают, как простые евреи: «дает Бог детки, даст и на детки». Поговорка-то и оправдывается. У дьякона уж как плохо было. Четверо детей, работа на заводе плохая, нужда до края доходила, и вдруг на лотерейную десятку пять тысяч выиграл. Сразу поправился, и легче стало, а через несколько месяцев, когда уже ничего от денег не осталось, опять тысячу выиграл. На заводе как узнали, что дьякону повезло, все в один голос сказали, что судьба правильно решила!

Рождаемость в русской колонии, действительно, очень велика. В этом очень интересны данные приходского отчета за десять лет. В настоящее время на заводе работает 330 русских, с семьями их наберется около восьмисот. За десять лет совершено 56 браков и родилось 236 младенцев. Однако велика и смертность: умерло 107 человек, из них

70 мужчин, 9 женщин и 28 детей. Погибают, главным образом, от туберкулеза (из 70 мужчин — 26 умерло от чахотки). Причина вполне понятна. Надорванные войной, революцией и эмиграцией, физические силы иссякают. Работать приходится в условиях крайне тяжелых и не гигиеничных. В прокатной мастерской, где вырабатывают рельсы, всегда сквозняк. Схватить воспаление легких или плеврит ничего не стоит. Всюду пахнет газами и едким дымом, у грохочущих моторов температура так высока, что приходится надевать обувь с веревочной подошвой, иначе не устоишь. А годы у большинства уже немолодые. Кому в начале эмиграции было под сорок — под шестьдесят подходит! Нужно еще удивляться, как люди это выносят.

— Из добротного, вероятно, материала сделаны! — говорит работающий на заводе машинистом боевой, генерального штаба генерал, два раза раненный па мировой войне и еще совсем крепкий.

Материал в самом деле в высшей степени добротный. У генерала в свое время была полная возможность и соответствующие предложения устроиться на службу в польскую армию, но он, считая это не патриотичным, предпочел работать сначала в Болгарии землемером, питаясь хлебом и луком и запивая водой из ручья, а затем простым рабочим на нормандском заводе. Раньше фигура русского генерала у машины привлекала любопытство сбегавшихся посмотреть на диковинное зрелище со всех мастерских рабочих. Теперь привыкли. Генерал, так генерал: работает и ладно. А генералу только этого и нужно — лишь бы оставили в покое и не мешали зарабатывать на хлеб насущный, да из скудного заработка помогать безработным родным.

О том, как трудна и безрадостна такая жизнь, от русских в провинции не услышишь. Напротив, все очень хорошо: с завода не гонят, теплый угол есть, с начальством отношения хорошие, с рабочими тоже. В Париже, правда, не часто приходится бывать, с колониальной выставки не были — не по карману, хотя и близко. Зато какое счастье, что не соблазнились Парижем раньше и застряли здесь! В отпускной день можно съездить на море, погреться на пляже. Когда же наступит осень с постоянным дождем, резким нормандским ветром, можно, придя с работы домой и усевшись в кресле у радиоаппарата, слушать симфониче-

ский концерт и не думать, что рано утром в темноте надо снова тащиться на завод.

— Радио — великая в нашей жизни вещь, — говорит мой провинциальный собеседник, — напрасно столичные снобы, подражая своим, предпочитавшим дилижанс железной дороге и уездную таратайку автомобилю дедушкам, поносят эту чудесную машинку.

— Многое мы пережили и поняли, словно сто лет от прошлого отделяет, — в молчании прослушав бетховенскую сонату, замечает русский старик. — Молодежь еще немного фордыбачит. Перспектив, говорит, нет никаких. Для молодежи это понятно. А какие у нашего брата, на закате, перспективы, будь ты полноправный француз или бесправный русский? У всех одна перспектива.

Последние новости, 3 окт. 1936, № 5671

10. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

— Вы спрашиваете, как мы живем и чем живем? — говорит уже десять лет живущий в маленьком французском городишке соотечественник. — Ответить как живем, нетрудно, вы видите сами. Работаем, кое-чем обросли, кое-что скопили. Привыкли к месту, и место привыкло к нам. Отношения в провинции проще, стеснения не так чувствительны: жить можно. Сложнее определить, «чем люди живы». Всё очень опростилось и упростилось вообще в жизни, у нас в изгнании так же, как и в России. Кто-то из старых эмигрантов писал в своих воспоминаниях, что эмиграция — это тюрьма без стен. В начале это ощущалось очень остро, но постепенно свыклись. Привыкают ведь заключенные и к настоящей тюрьме, в особенности в общем заключении!

— Но повсюду создается своя общественная жизнь, организации, кружки. Все это свободно и без принуждения. Какая же это тюрьма?

— У заключенных тоже образуется некоторое подобие общественной жизни и даже учреждений. Дело не в этом. Во всей нашей общественности нет движения, она застыла в своем составе и узких утилитарных рамках. Не то чтобы

люди перестали мыслить, но мысли стали иными. Не только люди попроще, для которых это вполне естественно во всех условиях, но и посложнее как-то сами собой сжались до повседневных интересов, вне которых ничего нет.

— А политическис вопросы больше не занимают? Ведь остались же деления на правых и левых, происходят споры и несогласия?

— В эмиграции, по моему, давно уже нет ни правых, ни левых. Остались только правые и виноватые. К первым принадлежит, прежде всего, молодежь, которая действительно ни в чем не виновата, вторые все равно сходят со сцены, в большинстве случаев со всем примирились, и незачем уж и уточнять состав их. Широкие эмигрантские круги проявляют полное равнодушие к политике, политическим организациям, широким объединениям и даже к центральным общеэмигрантским учреждениям. На первом плане своя личная жизнь, затем — местная колониальная, если колония достаточно велика и сгруппирована в одном месте, наконец, к тому, что происходит в России. Это не умирает, и стремление вернуться у громадного большинства продолжает жить ничуть не меньше, чем в первые годы изгнания. Патриотизм чрезвычайно окреп и вырос у русских за границей. От старых политических настроений осталось очень мало. О восстановлении прошлого никто уже не мечтает, точно так же, как о возвращении прежних имущественных прав и разных там чинов и преимуществ. А те, кто еще мечтал, успели понемногу перейти в лучший мир. Теперь с вопросом возвращения в Россию дело обстоит проще. Максимум пожеланий сводится к тому, чтобы можно было свободно дышать и работать, не опасаясь ссылки в концентрационный лагерь или какой-нибудь Лубянки. Отсюда такой горячий интерес ко всему, что делается в России и о чем, к несчастью, так мало доходит до нас сведений, а то, что доходит, темно и непонятно.

— Но есть и такие, кто так утрясся за границей, что никогда уже не вернется, что бы ни произошло в России, и о возвращении не думает вовсе. Играет роль здесь достигнутое материальное положение, но не одно благополучие, и даже семейные связи, о бытовых не говорю, ибо именно во Франции ни у кого из русских никаких прочных отношений с местными людьми не создалось. Все ведь сводится у нас с

ними к «здравствуйте и прощайте». Так что расставаться ни тем, ни другим было бы не жалко. Как это ни странно, простые люди в изгнании чувствуют себя гораздо лучше, особенно, когда обзаведутся своим домком и отложат на черный день. Но то же, хотя и реже, бывает и у интеллигентов. Есть в этом нечто глубоко индивидуальное. Живали ведь и раньше на положении приживальщиков в чужих домах и никакого угнетения не испытывали, лишь бы хорошо кормили и не обижали. Случалось, что вся жизнь так проходила и ничего. Так вот и теперь в «тюрьме без стен». Но чего никто не теряет, это — привязанность к бытовым подробностям русской жизни. Всякие наши борщи, ватрушки и чай с вареньем оказались крепче книги, газеты и чего угодно. Тут все едины, и русское дело стоит твердо...

— Неужели русских объединяют по преимуществу борщ и ватрушки?

— Я не говорю, что вся сила национального объединения в русском борще. Это лишь внешняя подробность, которая проявила исключительную живучесть. Объединяет, само собою разумеется, другое. Это общность мироощущения, миропонимания, т.е. то, чем вообще народы отличаются один от другого. У одних, как, например, французов, это сходство распространено больше, у других, как русских, пожалуй, несколько слабее, но в изгнании оно ощущается гораздо ярче и обнаруживает громадную силу притяжения, часто независимо от культурного уровня и состояния, и что любопытнее всего, особенно у нашего младшего поколения. Казалось бы, у них именно этого не должно проявляться. Ведь получили образование вместе с французами, языком владеют в совершенстве, обычно, свободнее, чем русским. А вот, подите, тянет их друг к другу больше, чем пожилых русских. Часто и говорят-то между собой по-французски и к национальной гастрономии, не говоря уж о литературе и истории, совершенно равнодушны. В таком притяжении сказывается нечто подсознательное и прирожденное, что действует настойчивее среды и воспитания. Возьмите браки. В громадном большинстве русские женятся на русских, в крайнем случае на галичанках, польках, болгарках и очень редко на французенках. А чем французенки не жены? Отличные хозяйки, не требовательны, заботливые и преданные матери и жены, выбор

невест всюду громадный, нередко и с приданым. Но не ладится что-то у нашей молодежи с ними. Тянет к своим...

Русские беседы длятся в деревне долго. Всего не пере-скажешь. Если нет больше претензии все охватить и все понять, то стремление все обсудить остальсь.

Вечер незаметно переходит в ночь. Ярко сияют осенние звезды, французское местечко спит крепким сном. Какое ему дело до странных пришельцев, зарабатывающих днем свой кусок хлеба, а по вечерам без конца толкующих о чем-то непонятном? Ведь в мире все так просто, и этого не могут уяснить себе лишь славянские души. То собранные на пятачке рабочего поселка, то разбросанные в одиночку, они везде одни и те же и не таковы, как остальные. То пьют без меры водку, то вдруг бросают и капли красного вина не возьмут в рот, то работают так, что за ними и не угнаться, то впадают в лень и доходят до полной нищеты.

Француз-трактирщик, с которым я беседую на другой день, говорит мне обо всем этом тоном искреннего недоумения. Неплохие, мол, наши соотечественники люди, но уж больно непонятны.

— Жил-был тут неподалеку один русский. Говорил, что инженер, а сам занимался куроводством. Снял большой, полуразвалившийся дом, завел кур, все по бумажке, сколько расходов, сколько надо ждать доходов. Все выходило гладко. На деле же все нолучилось совсем иное. Грязь пошла в доме такая, что и близко подойти страшно, а куры сталидохнуть. Инженер бился, бился, впал в бедность. Не только курам, самому нечего было есть. Вдруг уезжает в Париж. Изобрел, говорит, нечто, важное в химической промышленности, надо взять патент и предложить властям. Наши в Париже долго тянули, и с изобретением ничего не получилось. Мы уже думали, что будет, как с курами. Оказывается изобретением заинтересовались итальянцы и написали в Италию нашего инженера. Бросив кур, поехал он в Рим, а вернулся с деньгами. Итальянцы строят завод для эксплуатации его изобретения, приглашают его работать и обещают хорошо платить. Того гляди миллионером станет инженер. С русскими никогда не знаешь, чего от них ждать! Но люди честные, порядочные, дурного о них не скажешь, — заканчивает трактирщик, опрокинув бокал бордо и старательно облизывая усы.

Не все, к сожалению, русские удачно наживают на неожиданных изобретениях деньги. Многим приходится невероятно туго. Тут же в деревушке, носящей пышное название Монжей ле Тур, хотя никакой башни нет, и сами старожилы не знают, где она в далеком прошлом могла находиться, так как нет ни остатков замка ни даже простой деревенской церкви, и всего-навсего имеется около шестидесяти старых домов, среди которых выделяется нарядный домик известного русского ученого, — затерялось несколько русских. Один из них, «месье Димитри», тоже построил себе на окраине своеобразное жилище, которое туземцы шутя называют «шато русс».

— Месье Димитри теперь поступил на службу, кажется, помощником повара в какой-то пансион, — рассказывают мне. — А раньше он жил здесь, работал поденно плотником, или на огородах, купил себе за 300 франков клочок земли за деревней и сам возвел себе шалаш, в котором жил. В свое шато он приезжает только в отпуск.

По узенькой дорожке выхожу из деревни посмотреть «шато русс». Сначала тянутся, прижавшись один к другому, серые деревенские домишки, за ними огороды и пустыри, разбитые на участки, где малоимущие горожане понастроят себе в парагвайском стиле на живую нитку сколоченных домов. Пока же здесь обыкновенно ничего нет, кроме одиноко торчащей деревянной палатки без всякого признака забора. Калитка на пустом участке выглядит, точно галстук на голом теле. Но что поделаешь, когда у покупателя только и хватило на все средств, остальное приложится потом.

С горки открывается чудесный вид на зеленые поля и синеющие вдали леса. Пахнет свежим сеном! Спустившись немного вниз, не без труда нахожу жилище «месье Димитри». Хозяина нет дома, все заросло доходящей до пояса травой, но видны следы культуры и богатый урожай яблок на единственном дереве. Шато представляет собой сплетенную из прутьев хижину, с застекленным окном и настоящей дверью. Никаких запоров, если не считать заржавленного, висящего явно для фасона громадного замка. Дверь открывается свободно. Внутри все в таком порядке, как оставил владелец: железная кровать с матрацем, под нею пара старых сапог, в углу чугунная печурка, у окна

стол, на столе керосиновая лампа и французская книга «La Physionomie humaine, comparée aux animaux»¹⁰ с иллюстрациями и разорванный конверт с московским почтовым штемпелем.

Такое имущество можно свободно бросить и без запора: его никто не тронет.

Француз, как бы он ни был беден, такой избушки не построит. Это несерьезно. Но хозяин русский, а русские известные чудаки, и о «шато рюсс» обыватели говорят с благодушной улыбкой, а о владельце отзываются с полным уважением. В свое время месье Димитри, прозевав по русскому обыкновению все сроки, не обменял свою рабочую карту и получил за это такой штраф, что об уплате нельзя было и думать. Грозила высылка. Месье Димитри собирался на велосипеде удирать за первую попавшуюся границу, но в дело энергично вмешался деревенский мэр, выхлопотавший ему не только новую карту, но и освобождение от штрафа.

— Как можно выселять месье Димитри и облагать его штрафом в восемьсот франков? — писал мэр полицейскому начальству. — Это вполне почтенный иностранец и местный домовладелец, хотя и очень бедный, но отличный работник и честный гражданин.

Власть на местах, в особенности в небольших местечках, не одобряет введенных стеснений для иностранцев. К чему эти ограничения? Живут эти люди годами тихо, мирно, трудятся, кто как умеет, страна велика, всем места хватает, а тут пошли прописки, документы, право на работу, право на проживание. Кому это нужно? Но Париж приказывает — приходится волей-неволей исполнять.хлопот с этим не оберешься, а тут и своих дел много. Мудрят они там в Париже...

Последние новости, 11 окт. 1936. № 5679

11. НА ХУТОРЕ У КАЗАКОВ

Маленькая комната в рабочем бараке. На стене случайный портрет Салтыкова-Щедрина, несколько картинок и большая таблица русского алфавита. На скамейках и табу-

ретках, за простым некрашеным столом, десятка два казаков, во главе с председательствующим, седым стариком. В четверговой русской школе происходит заседание Общесказачьего хутора города Шампань-на-Сене.

— Теперь, рассмотрев вопрос о праздновании войскового праздника, перейдем к очередным делам, — заявляет атаман Т.О. Комаров. — Какие там у нас бумаги? — обращается он к секретарю, поглаживая опущенные, как у Тараса Бульбы, усы.

— Письмо члена хутора о сложении с него штрафа за непосещение общих собраний; сообщение атамана новообразованного хутора «Дон» об открытии деятельности этого объединения; предложение из Парижа о подписке на лекции для заочного образования, по 32 франка за лекцию; воззвание друзей газеты «Возрождение» о поддержке названной газеты путем годовой подписки на нее. Вот и все наши дела. Читать ли все это? — спрашивает секретарь.

— Ну, зачем же все читать. Бумаг много, всех не перечтешь. Кто пожелает, сам ознакомится. Будем решать сразу. Первое что там? Штраф? Ежели уважительная причина, сложим. Все согласны? Второй хутор образовался? Ладно, все уже знают об этом. Принять к сведению. Подписка на лекции заочного обучения? Тут подробное объяснение, что и как и по какому предмету. Издает в Париже свой казак. Подписываться что ли?

— Да куда там, атаман, нам лекции учить! Целый день на работе, дай Бог газетку вечером просмотреть. Пусть кто хочет подписывается за свой счет. То же я полагаю и с подпиской на газету. Где уж нам поддерживать ее. В Париже люди побогаче будут.

— Ну, когда так, все дела разрешены. Объявляю общее собрание хутора закрытым!

Казак не спеша встают, потягиваются от непривычки заседать и начинают расходиться. Внешне казачьего в них, собственно, мало: обыкновенные пиджаки, галстуки и шляпы. Иные, по случаю праздничного дня, особенно принарядились. Все чувствуют себя уверенно и прочно. Многие свободно говорят по-французски, поженились на француженках и пустили прочные корни на местной почве.

Казачий хутор в эмиграции — понятие духовное. Никакого хутора в буквальном смысле, конечно, нет. Это просто

название для небольшого, как станица для более крупного, объединения живущих в одной местности казаков. Бытовое тяготение друг к другу, солидарность и взаимопомощь очень развиты в казачьей среде. Это не мешает им, правда, как и другим русским, порою спорить, ссориться и рядом с учрежденными уже станицами и хуторами создавать вторые и даже третьи с другими атаманами. Казаки народ своенравный и свободолюбивый. Однако своенравие не нарушает их общей связи и привязанности к своим организациям, создающимся всегда на строго выборном, демократическом начале и добровольном подчинении. Разбросанные теперь по всему миру, они не теряют старых отношений, отлично знают, кто где обосновался и как живет. С другой стороны, люди в большинстве случаев простые, они легче входят в местную жизнь, легче осваиваются и привыкают. Изгнание для них несчастье, но не трагедия. Всякое несчастье можно изжить при благоприятной обстановке, стоит только хорошо работать, обзавестись семьей, домом, друзьями. Народ выносливый и здоровый, казаки работать могут, была бы только работа и заманчивый заработок, дающий возможность делать сбережения. Жениться можно и на французенке или галичанке. Невест сколько угодно. А дальше толковый человек — сам кузнец своего счастья. С правами иногда бывает трудно. То затруднения с разрешением на работу, то с переменой места жительства, то еще с чем-нибудь. Тогда, в крайнем случае, можно и натурализоваться. Все равно приходится оседать на чужой земле, дети у большинства пошли уже французы, по-русски часто не понимают, отцам и объясняться бывает с ними трудно.

— У нас пятнадцать человек подавали прошение о натурализации, — рассказывает мне местный казак. — Прошло четыре года и никакого ответа. Я-то сам не подавал. Знаю, что вряд ли придется когда-нибудь домой вернуться, да и корни прочные пустил здесь; женился на французенке и хорошую работу чертежника на заводе имею. А все не хотел как-то отказываться от своего русского звания. Какой я, в самом деле, француз?

Шагающий со мной рядом с казачьего собрания человек попроще никаких сомнений в этом вопросе не переживает. У него жена галичанка, двое детей, которых надо ставить на ноги, и все дело в том, как лучше устроить жизнь.

— Что там со званием, — замечает он, — кому оно теперь нужно? От своих я все равно уходить не собираюсь. Возвращаться на родину, по всей видимости, не придется. А если бы и вернулся, что я там найду? Ни кола, ни двора давно нет. Снова жизнь начинать придется. А тут как-никак устроился, работаю, участок земли купил, скоро строиться собираюсь. Буду французом, никакой мне процент не страшен. В одном месте работу потеряю, в другом найду. Теперь, пишут в газетах, даже фамилию менять будут. Зовут меня Васютка. Только три буквы отбросить, и совсем французом буду: месье Васю. Тогда ничего не бойся. Никто тебя пальцем не посмеет тронуть. Язык хорошо знаю. С кем угодно могу поговорить. Два года в Париже на центральном рынке работал, даже на арго говорить могу.

— А как же ваше казачество к этому вопросу относится? Не осуждает?

— Да что же тут относиться, — продолжает мой собеседник, — дело просто! Покойный наш атаман сам мне говорил, что возвращаться вряд ли кому придется; надо устраиваться прочнее, кто как может. С казаками я ни за что не порву. Мы все — одна семья, как бы жизнь ни сложилась. Медленно только тянется это у французов. Досье, говорят, у вас в порядке, а решения все не выходит.

Никаких жалоб у казаков на свое положение в Шампани нет. Напротив, все в один голос подтверждают, что и администрация большого, выделяющего электрические моторы, завода и местное начальство в лице мэра и муниципального управления относятся к русским очень хорошо. Когда на заводе сократилось производство, начали высылать на родину рабочих поляков, итальянцев и испанцев, но русских не трогали. Год назад с заработками было плоховато, работали с перебоями, оказалось и несколько русских безработных. В последнее время с работой стало снова лучше. После забастовок заработок увеличился и колеблется от 4 до 7 франков в час. Пять русских инженеров служат чертежниками, а двое, и в том числе сын владельца известного Путиловского завода в Петербурге, — по специальности инженерами на Шнейдеровском заводе. Рабочим за 20-25 франков предоставляются квартиры в две-три комнаты в бараках или за плату в сто франков в месяц — в отдельных удобных особняках.

Русская колония в Шампани невелика, человек 80 рабочих, не считая семей. Кроме казачьих хуторов, имеется тут отделение Воинского союза, в состав которого входят несколько человек, беспартийное общеземляческое объединение, возглавляемое М.Г. Калевым, являющимся одновременно учителем в русской школе, и комитет помощи нуждающимся и безработным. Последних теперь здесь только двое.

Шомажного пособия в Шампани не выдают, и комитету приходится самому изыскивать средства. Достигается это, как и всюду, устройством вечеров и сбором добровольных взносов, в которых участвуют не только русские, но и несколько французов.

Большинство русских обосновалось здесь десять и больше лет назад. К ним привыкли на заводе и местные жители городка. Многие тут же и женились, а за десять лет родилось 38 человек детей.

— Моей дочке уже восемь лет, — сообщает мне сын атамана. — Жена по-русски, конечно, не понимает, дома говорим по-французски, девочка немного понимает и по-русски, но говорить не может. Я научил ее читать русскую газету. Она возьмет «Последние новости», водит пальцем и читает заголовки: «Ста-лин бо-лен». А потом спрашивает: — Папа, кес-ке-сэ Сталин? Кес-ке-сэ болен?» Времени все не хватает как следует обучить ее.

— И я вот сына никак не могу научить по-русски, — замечает другой. — Когда же его учить? Целый день на заводе, вечером придешь усталый. По-французски я неважно объясняюсь. С женой-то кое-как говорю, а с сыном понимаем один другого с пятого на десятое. Пробовал ему рассказывать про Россию, про нашу природу, про охоту. Он слушает, молчит, а понимает ли что-нибудь, я не знаю.

— У одних наших похуже было. Отец с матерью русские, и по-французски никак научиться не могли. Оба работали целые дни, а детей оставляли на попечение француженки, квартирной хозяйки. Потом дети стали бегать в школу. Родители придут с работы, а тем уже и спать пора. Где тут разговоришься. Теперь совсем друг друга не понимают. Родители говорят только по-русски, а дети только по-французски. Чуть что посложнее — через переводчика объясняться надо.

— Быстро идет время. Оглянуться не успели, как и дети выросли и сколько годов прошло в этой Шампани. А кажется, совсем недавно приехали мы сюда с первой русской группой. Завербовали нас на этот завод целую партию прибывших из Константинополя в Марселе. Привезли, предоставили бараки, койки, потом как следует накормили, и марш на завод. А мы как есть дикари: все в старой форме, у каждого бескозырка с кокардой набекрень, из бескозырки кок торчит, красные лампасы. В таком виде и на завод явились, французы смотрят: что, мол, за чудовища такие! У нас же силы молодые, дорвались до работы, себя не посрамили. Глядим, в субботу предлагают авансы получать. Ну, думаем, и дела: работа еще не сделана, а тут уж и авансы предлагают. Авансы, конечно, все взяли. Купили закуски, да восемьдесят литров красного вина на всю компанию в пятнадцать человек, да в барак. И пошел пир. Откуда-то гармошка появилась, пошли песни, пляски. Субботу гуляем, воскресенье гуляем, в понедельник утром гудок на заводе гудит, а мы и в ус не дуем. Барак прямо ходуном ходит. Французы в окна заглядывают. Что, мол, с казаками случилось, что дальше будет? Мы ничего — пируем и их к себе зовем. Так до вторника и прокутили, а утром как пошли на работу, да как принялись, словно на себя работаем, французы даже головами качают. Потом вызывают наших и говорят, не можем ли мы еще таких рабочих, своих земляков, выписать. Обещают и визы выхлопотать, и за дорогу заплатить. Хоть сотню работников, говорят, давайте, всех примем! С тех пор установились у нас отношения с администрацией и такими же сохранились и до сих пор. Бывали, разумеется, за эти годы недоразумения. Случалось и повздорить, но в общем все хорошо идет. Нас даже мэр очень уважает. Как какой у них праздник или школу в прошлом году открывали и на открытие сенатор приезжал, от мэрии к нам в хутор приглашение пожаловать всем на торжество с национальным флагом. Ну, мы идем, конечно, с атаманом и впереди трехцветный русский флаг. Как полагается...

Заходит солнце. От Сены поднимается туман. Утопающий в зелени фруктовых садов и виноградников Шампань весь виден с пригорка, куда мы поднялись, как на ладони.

На пригорке хозяйственный казак построил себе домик, завел огород, кур и хрюкающих свиней. В вечерних сумер-

ках дом кажется совсем светлым, словно выбеленная хата на хуторе близ Диканьки.

Рядом белый домик рабочего-португальца, а немного поодаль, за грудой осенних георгинов, белеет третий — снова казака. Хозяйка-галичанка говорит с малороссийским акцентом, и только возящиеся у калитки дети напоминают, что хутор на пригорке очень далек и от Диканьки, и от Кубани:

— Papa! papa! George a crevé mon ballon. Achete-moi un autre!¹¹

— Ладно, куплю. А Жоржу уши надрать за балон надо...

Последние новости, 16 окт. 1936, № 5684

12. БОРДО

Мой дорожный путеводитель утверждает: «Бордо — главный город департамента Жиронды, с 267 тысячами жителей, расположен на левом берегу Гаронны. Это один из первых городов Франции не только по размерам, по торговле, но и по красоте своего положения. В город ведет мост через Гаронну, в 487 метров длины и 15 метров ширины, построенный на 17 арках. С него открывается прекрасный вид на город и порт».

Тут все безукоризненно верно, начиная с местоположения и кончая, вероятно, размерами громадного моста и числом арок. Относительны только эстетические оценки. Путеводители почему-то всегда проявляют чрезмерную восторженность в этом отношении, точно составители их никогда ничего путного не видывали в жизни.

Ничего прекрасного с железнодорожного моста не открывается, а то, что открывается, вовсе не прекрасно. С серого неба моросит дождь. За бурой громадой закопченного вокзала тянутся застроенные однообразными серыми домами прямые улицы, по которым бегают старенькие трамвайчики. В центре, правда, есть несколько интересных церквей и зданий, небольшой городской сад, нарядный театр, музей, но все, что отходит во все стороны от центра, ничем не радует взора. Короче говоря — никакой красоты положения, а просто — большой торговый, очень грязный

город на берегу мутно-желтой Гаронны, в котором летом вовсю жарит солнце, а зимой, не переставая, льют дожди.

За годы эмиграции здесь, так или иначе, утряслось две с лишним сотни русских. Одни попали сюда случайно, другие — по рабочим контрактам на большой вагоностроительный завод приехали из Болгарии, третьи — переходя с места на место в поисках лучшей жизни и работы добрались до Бордо, а с введением ограничений в праве передвижения для иностранцев здесь и застряли. К Бордо же тяготеют и разбросанные по всем департаментам юго-западной Франции русские. Их насчитывается в этих краях около 600 человек, не считая семей. Живущие в городе работают на вагоностроительном заводе, сахарных заводах, грузчиками и малярами, в порту, на пароходах, несколько человек в пароходных обществах и торговых предприятиях. Средний заработок для чернорабочих составляет 35 франков в день. Около 25 русских безработные. Все получают шوماжное пособие по 8 фр. в день, но без квартиры. Большинство живет на окраинах города, поближе к фабрикам, в унылых, грязных домах для рабочих, где квартира в две комнаты обходится в 100 фр., а одну комнату можно нанять за 60 франков.

Живущие в окрестностях Бордо и дальше — занимаются сельским хозяйством, пять семей — на собственных фермах, остальные — на арендованных, или половинщиками и батраками.

Как и всюду, независимо от числа самих эмигрантов, русских организаций в Бордо много. Самой старой является Русский кружок, насчитывающий несколько десятков членов и нанимающий для своих собраний особое помещение в кафе около университета. Собираться здесь по вечерам трудно. Трамвайное сообщение с окраинами прекращается рано, и по пятницам в кружке собирается человек 5-6 поиграть в шахматы, одинокий библиотекарь в отличном порядке содержимой небольшой библиотеки безнадежно ожидает читателей для еженедельного обмена книг. Куда там усталому после рабочего дня человеку тащиться из пригорода за книгой с риском опоздать на последний трамвай, да и читать-то времени немного. За день человек устанет, и вечером после обеда и на газету едва хватает времени. Те же, кто без книги не могут обойтись, как один пол-

ковник и другой бывший участник экспедиционного корпуса, перечитали все книги в библиотеке, и нового здесь для них ничего нет.

Небольших членских взносов для оплаты кружка и помощи нуждающимся членам, конечно, не хватает, и правлению во главе с П.А. Волковым приходится устраивать от поры до времени вечера и утра в пользу своей кассы. Кроме кружка, в Бордо давно уже существует Казачья станица, руководимая И.В. Поповым, Христианский трудовой союз, скаутский отряд, отделение Союза младороссов, православный приход и, наконец, весьма деятельное, образовавшиеся только в прошлом году Общеэмигрантское объединение.

Христианский союз занят по преимуществу благотворительной деятельностью. Кому выхлопатывается во французских учреждениях материальная помощь, кого снабжают медикаментами, кого устраивают в больницу или в санаторию и т.д. Кроме того, председатель дает всем обращающимся русским бесплатные консультации по рабочим вопросам и ведет переписку за неграмотных и не умеющих писать по-французски.

Православный приход образовался в Бордо в 1928 году. Теперь в общине числится пятьсот членов, но участвуют в самообложении всего 120 человек, вносящих по 5 фр. в месяц, а некоторые немногим больше. Из этих взносов составляется бюджет в 700 фр., из которых 220 идет на арендную плату за помещение для церкви в предместье, 250 фр. — на вознаграждение священнику и остальное — на содержание церкви.

Наладил приходскую жизнь энергичный о. О. Пальмин. По происхождению сибиряк, по образованию юрист, он долго был простым рабочим в Париже и только два года, как принял сан и получил назначение в Бордо. В материальном отношении положение рабочего в Париже было, вероятно, много лучше, нежели эмигрантского священника, ютящегося в маленькой каморке рядом с церковью. Жизнь приходит в движение. Приход большой, разбросанный по трем департаментам. Прихожане, естественно, не могут часто бывать в церкви, и священнику приходится самому посещать их, совершать богослужения то в маленьких местечках, то в сравнительно далеком Ла Рошеле, то на фер-

мах. В районе Сулака живет немало сельскохозяйственных рабочих галичан-униатов, считающих себя русскими. Отец Пальмин заглядывает и к ним, встречая здесь радушный и радостный прием. В Бордо, помимо русских, он обслуживает болгар и сербов, а также местную греческую колонию, совершая иногда богослужения на древнегреческом языке.

Положение эмигрантского священника трудно не только в материальном отношении, которое обычно представляет собой совершенно нищенское существование и на которое можно пойти только по идейным основаниям. Надо много такта, осторожности, умения ладить с чрезвычайно разными в культурном отношении людьми, чтобы сглаживать все противоречия и шероховатости, вести и развивать приходскую жизнь. Провинциальный священник не только совершитель треб и богослужений, — он непременно утешитель в печальной беженской судьбе, умиротворитель, консультант по самым различным общественным и бытовым вопросам, учитель беженских детей, часто — посредник в отношениях с властями и работодателями, иногда — переводчик и подвижное бюро труда, и всегда странник, поддерживающий связь между прихожанами. Русские вовсе уж не столь религиозны и богомольны, как это принято думать. Обычные богослужения часто совершаются в пустой церкви: священник, дьякон и псаломщик — вот и все. Люди работают, устают, до церкви далеко, в воскресенье каждому хочется отдохнуть. Куда тут тащиться на край города! За это не осуждает и сам отец Пальмин. Но если человек не идет в церковь, она сама, в лице священника, идет к человеку. Количество и состав русских в юго-западной Франции, в сущности, и установлены только его обследованием и систематическими объездами района.

Ближайшими помощниками священника являются церковный староста П.А. Аксенов и отец дьякон, бывший военный, а теперь чернорабочий масляной фабрики в Бордо. Приехав сюда по контракту из Болгарии на вагоностроительный завод, он, отбыв контракт, устроился на работу по производству масла из арахиса¹²⁻¹³ и недавно посвятился в дьяконы. Коротко остриженный и гладко выбритый, в обыкновенном костюме, в будние дни он — беженец-рабочий, по праздникам в полном облачении, во время

богослужения, — вдохновенно возглашающий воззвания ектеньи дьякон, буквально осуществляющий заповедь о шести днях труда и седьмом, посвященном Господу Богу.

В прошлом году в Бордо образовалось Общеэмигрантское объединение или, как его называли здесь, «дума». В свое время идея эмигрантских «дум» вызвала немало толков. Это объяснялось тем, что инициатор их в Бордо и, главным образом, парижские единомышленники стремились придать этому чисто местному делу, не представляющему собственно ничего «революционного» и оригинального, широкий и чуть ли не европейский или мировой характер.

Ничего мирового из бордоского начинания, конечно, не получилось и получиться не могло, да местные люди к этому вовсе и не стремились. Увлекало это лишь возглавителя и организатора думы, предприимчивого и легко воспламеняющегося Б.П. Муравьева. Сыграв, впрочем, очень полезную роль бродильного начала в местной колонии, он действительно сумел ее организовать, образовав административный орган в лице правления и контрольно-совещательный, в лице состоящей из 20 членов и собирающейся дважды в году думы, а затем, разочаровавшись в демократических началах беженского представительства, то ли в возможности широкой эмигрантской организации, начатой с периферии, отошел от дел, передав их новому правлению.

Теперь здесь больше нет никаких претензий и грандиозных планов, и все сводится к заботам о местных русских нуждах и интересах, т.е. к тому, чем занимаются правления русских колоний во всех провинциальных городах, где беспартийные общеэмигрантские объединения образовались уже давно и без всякого шума. Разница осталась только в названии и подробностях их конституций. В одних местах, как в Нильванже, это называется Союзом русских эмигрантов, в других — Русским комитетом, в третьих — правлением русской колонии.

В Бордо это называется думой, хотя постоянно действующим органом является только ее президиум в составе семи членов под председательством В.В. Мироновича, при товарище председателя К.Г. Голубкове, бывшем петербургском муниципальном деятеле, и казначее А.С. Корельском. В самом начале, уже полтора года тому назад, председате-

лю колонии, благодаря энергии и личным связям организатора объединения, удалось, действительно, многого добиться в деле улучшения положения русских. Так, по соглашению с местной префектурой и органами министерства труда, обмен документов (рабочих карт) производится через правление колонии, что существенно облегчает всю эту сложную процедуру, отнимающую у рабочего человека много времени. Никаких дополнительных сборов за это посредничество правление не взимает. Кроме того, местные власти признают выдаваемые правлением всем членам колонии, опять-таки совершенно бесплатно, документы, удостоверяющие личность и заменяющие метрические свидетельства. Довольно широко удалось правлению развить и благотворительную деятельность выдачей нуждающимся пособий и временных ссуд, хлопотами о шомажном пособии для безработных, участием в отправлении детей в летние лагеря.

В области культурно-просветительной в настоящее время разрабатывается программа пушкинских торжеств и учреждения в Бордо пушкинской библиотеки.

Включая в свою среду людей различных взглядов и являясь представительством всей колонии Бордо и его района, правление чисто политических вопросов не поднимает и возглавляется уважаемыми колонией деловыми, беспартийными людьми. Словом, и в этом здесь можно наблюдать то, что становится теперь характерным почти для всех общественных объединений в русских углах. Члены правления избираются на год и несут свои обязанности бесплатно, часто урывая для этого время от тяжелой работы где-нибудь на пригородной ферме, на фабрике или в конторе. Средства на наем помещения, делопроизводство и помощь нуждающимся образуются из членских взносов по два франка в месяц с главы семьи и устраиваемых правлением вечеров. Русские балы проходят с большим успехом и привлекают не только самих русских, но лучшее общество города и представителей французской прессы. Укреплению связей с местным обществом способствуют отчасти француженки, жены русских, отчасти те из членов правления, кто за годы жизни в Бордо успели создать себе здесь прочное положение и добрые отношения с французами. Бюджет колонии, конечно, невелик, но при общей бедности добыть

в год свыше восьми тысяч, принимая во внимание, что колония в Бордо, как и в других местах, ничего от центральных распределительных органов не получает, — очень трудно.

Русская провинция к этому уже привыкла и во всем полагается на свои силы.

Последние новости, 28 окт. 1936, № 5696

13. ВСТРЕЧИ

О том, что представляет собой положение русской эмиграции в Париже, может быть, лучше всего говорят сухие цифры, касающиеся маленькой церкви, устроенной в бывшем сарае на улице Лурмель в пятнадцатом округе столицы. За год в ней были совершены: одна свадьба, двое крестин и семьдесят погребений!

Смертность в эмиграции стала невероятно высока, особенно в последние годы, и не только среди пожилых людей, но и молодежи. Переутомление, болезни сердца и главный бич — туберкулез делают свое дело чрезвычайно быстро. Постоянно слышишь, что умер человек за рулем такси, в городской больнице, на станции метро или просто вечером заснул и не проснулся. Провинция в этом отстает, к несчастью, немногим. Но здесь наряду с тоже довольно высокой смертностью велика и рождаемость, особенно в деревне. Как ни усложняют положение эмигранта дсти, но без них было бы совсем печально. Да в деревне сама жизнь, если не всегда легче, гораздо здоровее, независимее и проще.

— У нас в Бордо, — рассказывал мне местный старожил, — девяносто детей на колонию в двести человек. Это лишь зарегистрированные на прошлогодней рождественской елке. Но немало детей в окрестностях на фермах. Ведь тут эмигрантов, бывших легионеров и солдат экспедиционного корпуса много. Сельские хозяева русских рабочих очень ценят. К нашему священнику нередко обращаются французы с просьбой порекомендовать рабочего. Некоторые устроились самостоятельно на арендованных фермах. Одни завели пчеловодство, другие занимаются табаководством, огородничеством или молочным хозяйством. Порою

дело идет недурно, особенно у казаков. Аренда обходится немного, от одной до трех тысяч франков в год, в зависимости от расстояния от города. Кто присмотрелся раньше к условиям французского хозяйства в качестве батраков и потом постепенно перешел на ту или иную форму аренды, справляется с делом лучше тех, кто, не имея опыта, сразу вложил деньги.

— Иногда где-нибудь в глуши можно встретить совсем российскую картину. Окруженный фруктовыми деревьями крестьянский французский дом русский хозяин переделал по своему вкусу. Получилась южнорусская хата. Выбеленные стены, большая русская печь, на полу чистые половики, вокруг стола широкие лавки и табуреты, вдоль стен полки с посудой, а в углу икона. Под самым городом несколько семей обосновались на собственных фермах. Занимаются преимущественно куроводством. Наиболее крупные из них, по эмигрантскому, ферма К.Г. Голубкова и П.А. Аксенова. Богатства, конечно, нет, но разумно поставленное куроводство обоим кормит, а семья последнего, нашего церковного старосты, хотя и работают все сами, обходясь без наемного труда, живет, как средней руки помещики. Вам непременно надо посмотреть их ферму!

На другой день вечером с приехавшим за мною на автомобиле А.С. Корельским, компаньоном и родственником церковного старосты, отправляюсь к ним в имение. В свое время нередко рассказывались анекдоты про казака «д-амур», который «ди воре ле пуль». Часто из такого куроводства хорошего ничего не получалось. Куры почему-то уклонялись от носки и дохли, а казаки и не казаки быстро прогорали. Здесь дело идет. Хозяева, правда, не богатеют, но довольны, бодры и постепенно развивают предприятие.

Пока мы мчимся на стареньком «рено» по направлению к ферме, мой спутник рассказывает о своем хозяйстве.

— Раньше я работал шофером такси в Париже, но город и эта жизнь буквально не вмоготу становились. Тянуло на лоно природы. Жить вдали от людей я не боялся. У меня жена и ребенок. Собственное детство я провел на берегу Белого моря. Мой отец был там смотрителем маяка. Жили дружно большой семьей и не скучали. Когда в Париж приехал мой архангельский земляк, муж сестры жены, мы решили вместе сесть на землю. У него были некоторые

средства. Поехали в Бордо, долго присматривались, наконец, на торгах купили ферму за 62 тысячи франков. Хороший дом, семь гектаров земли, из них два под лугом, два под садом и огородом, а остальное сосновый лес. Тут и обосновались, занявшись, главным образом, куроводством, т.е. продажей в Бордо яиц, битой птицы и цыплят. Постепенно появилась прочная клиентура, и теперь сбыт вполне обеспечен. Кроме того, ведем и молочное хозяйство. У нас три коровы. Молоко берет скупщик по 70 сант. за литр, а сам в городе продает вдвое дороже. В будущем предполагаем организовать самим доставку молока в Бордо. Это будет гораздо выгоднее. Пока же все внимание сосредоточено на курах. Тут мало было выучиться ходить за ними, лечить, кормить их соответствующей пищей, следить за ноской, вести куриные формуляры. Нужно было приспособиться к условиям рынка и твердо усвоить, когда выгодно продавать яйца, когда цыплят, когда и какую битую птицу. Конкурировать с французами в этом не так уж трудно, но необходимо все учитывать и все знать. Работы много, трудиться приходится в общем больше, чем в Париже, иногда и по шестнадцать часов в сутки. Но зато не знаешь никакого начальства и сам себе хозяин. Да и здоровее это нежели городская эмигрантская работа!

Автомобиль быстро пробегает тринадцать километров от Бордо, поворачивает на проселочную дорогу и, скользнув яркими лучами фар по густой листве сада, останавливается у ворот. Русские люди многое потеряли за эти годы, не утратили только радушного гостеприимства, особенно в провинции и особенно в деревне. Осматривая с хозяевами удобный дом, а на другой день утром — сад, куроводство, огород, пасущихся на лугу коров, чувствую себя точно в небольшом, но хорошо поставленном русском имении. В смысле внешней культуры тут даже лучше. В доме паркетные полы, уютная, со вкусом подобранная обстановка, электричество, центральное отопление, ванна, горячая вода в умывальниках, радио. В курятнике несколько сотен породистых белых кур; в саду — ряды черенков груш и яблок, грядки клубники; на лугу — настоящие голландские, черные с белым, коровы. Все эти блага в маленьких хозяйствах в России встречались редко.

Но хозяева, добрые русские северяне, собственным трудом создавшие этот уют, мыслями полны о России, а сравнительное благополучие и куры не убивают горячего интереса к ней и всему окружающему миру.

— Вот и живем здесь в своей маленькой республике, — говорит П.А. Аксенов, — нас четыре взрослых и наш «главный» фермер: четырехлетний Толя. Богатеть не собираемся. Это и невозможно. Вся задача заключается в том, чтобы прожить в ожидании, когда... Ну, словом, чего мы все, почти уже подсознательно, ждем. Жить можно: свободно, соседи относятся с уважением, налоги небольшие, природа хорошая, тихо.

В свое время лукавый Талейран де Перигор, будущий наполеоновский министр, советовал французским эмигрантам спать и ждать. Те много спали и долго ждали. Русским приходится больше всего работать, порою буквально «постахановски». Ничего не поделаешь: другие времена. Не все французы дождались, не все дождутся и у нас, но маленькие Толи, во всяком случае, дождутся, а может быть и не одни Толи. Работать же приходится, действительно, много и тяжело. Для того, чтобы завести доходное куроводство, помимо личных качеств, нужны деньги. У большинства их нет. Остается вагоностроительный завод или тяжести в бордоском порту.

— Шесть лет уже работаю на заводе, — жалуется один бордоский собеседник, — а никак не могу привыкнуть к этой жизни. Завод и все, что с ним связано, по-прежнему, если не больше, вызывает отвращение. Стоит прогудеть заводскому гудку, как у меня пробегает непреодолимый, какой-то внутренний трепет сопротивления. Но ничего не поделаешь: надо тянуть лямку. Живешь только надеждой, что вот, вот, нечто случится, произойдет чудо, я сам даже не знаю, что именно, но можно будет вернуться, наконец, домой!

— Ведь что-то происходит же в России, — нервно продолжал он, — не может не происходить! Жизнь не остановилась, и время работает на нас. Наша эпоха особенно подвижна и богата катастрофами даже в мертвой природе. Вот мы, например: только что, казалось, поустраивались в Болгарии, и вдруг как-то сидим в Пловдиве за столом, а висячая лампа ни с того ни с сего стала качаться из стороны в

сторону. Потом повалился, загремел посудой буфет. Послышался грохот. В окно видим: бегут по улице из соседней старой бани голые люди. Выскочили сами. Снова грохот, земля под ногами зашаталась, рядом дом рухнул. Землетрясение. Люди с ума посходили, чего только не было! На другой день наши «руспаки» начали разворачиваться. Богатые болгары просят вынести из полуразрушенного дома деньги. Русский — пожалуйста, за тысячу лев идет и вытаскивает из-под развалин письменный стол или несгорасмый ящик, вынимает деньги и сдает владельцу. На одной улице наклонилась колокольня, того и гляди рухнет на мостовую. Все к ней и подойти боятся — едва держится на честном слове. Наш брат, разумеется, нашелся, за три тысячи влез на самый верх, забросил петлю веревки, потом благополучно слез и, как дернул за веревку, колокольня и свалилась.

— Ну, а потом что было?

— Что же потом. Пришло вскоре предложение из Бордо работать на местном заводе. Мы и потянулись целой группой. Теперь сидим здесь и ждем...

— Чего, землетрясения?

— Может и не землетрясения, а просто каких сдвигов. В земле это бывает, а в государствах и того чаще. Какой-то гул уже идет. Нельзя сго не слышать.

В поисках свидетельств «гула» русские в Бордо стараются войти в общение с матросами прибывающих сюда советских торговых пароходов, а служащий французской пароходной компании предлагает мне поговорить с приехавшей на днях из Одессы и направляющейся в Южную Америку дамой. Она ждет парохода в грязном портовом отеле, по-французски не понимает, скучает и рада потолковать по-русски. Это пожилая интеллигентная еврейка. Пять лет тому назад у нее умер муж, крупный инженер на юге России. Вдова стала проситься к сыну, устроившемуся в Буэнос-Айресе, но разрешения не получала. В отчаянии она написала письма Сталину и Калинин, от которого в итоге, наконец, получила ответ и разрешение на выезд. Теперь она полна страхов перед грядущим океанским путешествием и ожидания предстоящего свидания с сыном.

— С Россией у меня все кончено, у меня там больше никого не осталось, только могилы — печально говорит

она. — Нехорошо говорить дурно о своей родине, я и не говорю ничего, но... жить там ужасно тяжело!

Теперь, правда, почти все можно купить, но ни у кого нет денег. Человек зарабатывает в среднем триста рублей в месяц, а обувь стоит двести, подержанный костюмчик шестьсот, а вот такое пальто, как у вас, не меньше тысячи рублей. Сколько во Франции такое стоит? 375? Это значит 125 рублей! Нет, в Одессе меньше, как за тысячу, не купишь. Хорошо одеты там только красноармейцы. Они довольны, сыты, прошлого не знают, за ними ухаживают, развлекают, обращаются вежливо, в казарме чисто. Чего им еще надо? Все остальные служат, и все воруют. Вся страна ворует, где кто может, иначе не проживешь! Теперь завелись стахановцы. Но что значит стахановщина? Это — переутомление. Сегодня он премированный стахановец, у него хорошая квартира и выданная начальством одежда, а завтра он заболел от напряжения и умер. Умирают вообще много, один за другим, особенно нашего поколения. За несколько лет у меня не только родных, а и знакомых почти не осталось. Теперь всюду молодежь, которая ничего прошлого не видела и не знает. Культуры у нее нет, всему, что ни сказано в газетах, она слепо верит.

Приехала я в Москву, на Белорусский вокзал, а там стоит поезд, идущий за границу: прямо красота! Чисто, порядок, спальные места. Такого третьего класса за границей я не видала. А если бы вы знали, в каких условиях я ехала от Одессы до Москвы! Трое суток на торчке сидела и смазочным маслом все пальто испачкала. В Москве великолепное метро, на улицах много народу, но жизнь тоже тяжела. Молодежь довольна всякому ничтожному улучшению, а старшие молчат. Разве в России можно сказать, что думаешь? Никому нельзя ничего доверить. Про себя только и думай...

Последние новости, 7 нояб. 1936. № 5706

14. ЛА РОШЕЛЬ

Поезд от Бордо до Ла Рошеля идет немногим больше трех часов. В купе третьего класса несколько пассажиров. Сначала все молчат, потом читают газеты. В полдень вы-

таскиваются кульки и бутылки с красным вином, после чего, естественно, хочется поговорить. Нейтральный разговор, как теперь часто у французов, быстро переходит на политические злобы дня. Сторонний наблюдатель, который бы пожелал определить политические воззрения собеседников по внешнему их виду, непременно ошибся бы и остался бы в некотором недоумении.

Румяный здоровяк в баскском берете, с загрубелыми руками чернорабочего и зычным голосом, оказывается противником «Народного фронта» и сторонником испанских генералов. Человек с видом среднего рантье из Бордо, франтоватый и самодовольный, выступает в защиту самых смелых социальных реформ, а как только разговор переходит на испанские события, начинает вовсю грозить фашистам. Третий вмешивается в беседу не сразу, а вмешавшись, вносит полную неразбериху. Он против всех и всему противопоставляет блага советского строя, о которых говорит таким уверенным тоном, точно вчера все это собственными глазами видел. В мыслях тут такая же путаница, как и в эмблемах, которые невольно привлекли мое внимание, лишь только он уселся против меня: в петлице красная орденская ленточка, в галстук булавка — золотая монета с профилем Наполсона III, на пальце серебряный перстень с серпом и молотом.

Французы спорят темпераментно, не без ядовитых слов и сильных выражений, но без ожесточения, а скорее в порядке послеобеденной беседы, для пищеварения. Несмотря на существенные разногласия, все сходится только в одном: слишком много появилось в Бордо испанских эмигрантов и напрасно их содержат за казенный счет. Старики там и дети — еще так сяк, но немало и молодежи, которая, подкормившись, совсем не рвется в бой и явно норовит застрять во Франции.

— Не правда ли, месье? — ищет моего сочувствия в этом вопросе поклонник советов с золотым профилем Наполеона на груди.

Мое положение в вопросе об эмигрантах деликатное, хотя я и принадлежу к той категории, которую никто на казенный счет не содержал и не содержит. Поэтому от участия в беседе упорно уклоняюсь, благо и выходить скоро. В окно уже виднеется сверкающий на солнце океан, поезд

бежит по самому берегу, вдоль бухты Антиоха, потом делает поворот и вскоре останавливается у вокзала.

Ничто не придает столько привлекательности городу, как уходящее за горизонт море. Какая бы это ни была провинциальная дыра, широкий водный простор дает впечатление перспективы манящих далей и связи со всем миром. Пусть обыватель никуда дальше набережной годами не выходит и даже в праздничный день не выедет на лодке в бухту, — уже один вид океана и вечное движение волн разрушают ощущение замкнутости и неподвижности.

Но Ла Рошель сам по себе очень приятный город, где после грязного Бордо особенно поражает чистота улиц, а сохранившиеся ворота Больших Часов, башни, церкви, остатки построенных Вобаном¹⁴ укреплений и старый порт мирно уживаются с современными особняками, пляжем и нарядным казино. По улицам бегают новенькие отличные автобусы, еще сияющие свежей голубой краской. Зимой тут тихо, и город оживает только в летний сезон, когда из Парижа приезжают курортные гости или «этранжэ», как их называют туземцы. Отношение к этим «этранжэ», которые в большинстве вовсе не иностранцы в строгом смысле слова, а такие же французы, только бордосцы или парижане, двойственное: с одной стороны они, разумеется полезны, так как повышают тонус городской жизни, дают возможность выгодно сдать на лето виллу, увеличивают обороты местной торговли и пансионно-ресторанных дел, — с другой же летом благодаря этим «этранжэ» поднимаются цены на предметы первой необходимости, и расчетливые хозяйки начинают ворчать, хозяйки заражают своим ворчанием хозяев. В результате получается вообще распространенная во Франции неувязка. С одной стороны, как будто, хорошо, что к ним приезжают, а с другой — плохо. Отсюда, вероятно, и половинчатость принимаемых к развитию туризма мер.

Но русские здесь не туристы, не гости, их мало, к ним привыкли, цен они никак не поднимают, сами стараются купить подешевле; все, что зарабатывают, здесь же и оставляют, живут тихо. Словом, нареканий не вызывают, и за все это время не было случая, чтобы кому-нибудь из русских отказали в разрешении на работу.

Большинство работает не в Ла Рошеле, а в Палис, — находящемся в пяти километрах, где продолжают работы

по усовершенствованию нового порта, на химических заводах и на большом вагоностроительном в Этре. Несколько человек уже давно устроились инженерами, один помощником директора химического завода, остальные рабочими, в порту или на фабриках, где процентная норма для иностранцев соблюдается только в отношении неквалифицированных работников и не касается специалистов.

Средний заработок простого рабочего колеблется от 32 до 40 франков в день. Жизнь здесь несколько дороже, чем в других провинциальных городах, но дешевле парижской, и на такой заработок можно скромно жить даже с семьей. Благодаря энергии нескольких инициаторов этого дела, в прошлом году образовалось русское объединение, за короткое время сумевшее очень многое сделать для улучшения быта русской колонии. Прежде всего создали клуб, для чего наняли помещение какой-то бывшей мастерской, собственными руками отремонтировали, завели необходимую мебель, приобрели в рассрочку пианино и стали по вечерам собираться. По воскресеньям здесь можно застать почти всю колонию, начиная от помощника директора завода и инженеров и кончая рабочими из бывших участников русского экспедиционного корпуса, с женами и детьми. В порядке почкования, при клубе образовались музыкально-артистический кружок, устраивающий спектакли и концерты, библиотека и даже курсы русского языка.

— Кого же, — спрашиваю одного из деятелей клуба, — обучают на этих курсах?

— У нас, видите ли, довольно много поженились на француженках. Когда появился русский клуб, мужья, естественно, туда потянулись. Работу кончит человек, и тянет его к своим потолковать, поиграть в шахматы, музыку послушать. Говорят все, конечно, по-русски. Женам скучно. Вот и решили обучаться русскому языку. Теперь на еженедельных собраниях бывают и все наши француженки, а некоторые принимают самое деятельное участие в организации буфета и вообще в клубном хозяйстве. Вместо денационализации мужей, происходит русификация жен...

— И что же, все идет мирно и благополучно?

— Вполне благополучно, — рассказывает председатель клуба, инженер Б.К. Адариди, — все без исключения дорожат созданным объединением, не покладая рук, работает

над ним наш секретарь Ф.И. Пришницкий, и все члены правления, каждый по добровольно избранной специальности. Мы считаем, что это должно быть общим делом всей колонии, а не какой-нибудь одной группы, хотя бы и деятельных людей. Поэтому все чувствуют себя здесь дома. Благодаря этому, создается свой общерусский уют и укрепляются связи. Чтобы делу объединения не мешала политика, — все ведь мы любим поговорить на политические темы, а, поговорив, — поспорить, а поспорив, — повздорить, — правление ввело особую меру. За политический разговор взимается с виновника штраф в размере двух франков. Такой же штраф полагается за сплетни.

— Ну, а как же эти кары действуют?

— Отлично! Первый штраф за попытку к беседе на политическую тему заплатил председатель. Со сплетнями дело обстоит, конечно, хуже, ибо трудно точно квалифицировать в каждом отдельном случае преступное деяние, не говоря уж об умысле. А если бы и это удалось наладить, дела клуба юшли бы настолько блестяще, что в будущем году можно было бы купить собственный дом...

— Это, конечно, шутка, — продолжает Б.К. Адариди, — но дело, действительно, развивается совсем без денег, быстро и успешно. В объединении полный демократизм. Все равны, независимо от званий и положений, и русский чернорабочий вагоностроительного завода такой же полноправный член клуба, как и главный инженер. Среди рабочих есть очаровательные люди. Вот, например, наш гигант месье Матвей, как его называют французы. Большой, здоровый, работает по-стахановски. Как-то, уже давно, набросились на него какие-то коммунисты с криками: «рюсс блан!» Сначала он не обращал внимания, а потом разозлился, да и пошел на всю толпу один, схватил первого попавшегося и потрепал как следует. Это вызвало взрыв общего восторга и крики «браво!» С тех пор никто не осмеливается его тронуть. А как-то свалилась около добывающего фосфаты завода большая глыба, которую двое рабочих разбивали кирками. Те возились, возились с нею, наконец, в изнеможении уселись на нее и закурили. Наш Илья Муромец, не долго думая, подошел, да и поднял глыбу вместе с французами и водрузил, куда надо. Теперь он гордость всего завода.

— И вместе с тем, это добрейший человек. У нас в колонии имеется всего, кажется, двое безработных. Один из них — пьяница безнадежный. Придет он к нашему гиганту, тот его накормит, уложит спать, а на утро дает двадцать франков и говорит: «Марш работать. Иди устраивайся, куда ни попадется, и пьяным не смей на глаза показываться!»

Вечером тот возвращается к нему, разумеется, без денег и совершенно пьяным. Начинается сейчас же поучение: сначала вздует, потом выругает, наконец, укажет на тарелку и говорит: «А теперь жри и вались спать!»

— Среди русских рабочих бывают удивительно настойчивые люди. Устроиться теперь простым манером очень трудно. Одному я сказал, что для того, чтобы приняли на завод, надо быть специалистом — «судером», т. е. спайщиком металла. Он заплатил рабочему-французу несколько сот франков за ученье в какой-то маленькой мастерской, через некоторое время явился ко мне и заявляет, что может быть «судером». Ему на заводе устроили экзамен, признали годным и приняли на работу. Теперь у человека в руках надежное ремесло, с которым всюду устроиться может, несмотря на кризис. «Судерам» меньше шести франков не платят. А наш секретарь объединения несколько лет тому назад бросил завод и сделался часовщиком. К часовому мастерству раньше имел такое же отношение, как и все мы, носящие часы в жилетном кармане. Постепенно самоучкой изучил ремесло, а потом дерзнул открыть мастерскую в Ла Палис и чинил там всем часы. Дело идет и кормит. А в свободное время занимается нашими общественными делами, да вот еще интервьюирует случающихся здесь русских матросов с заходящих в порт советских пароходов.

— Ну, что же — удастся? Что же говорят матросы?

— Очень трудно с ними разговориться, — рассказывает Ф.И. Пришницкий. — Выходят в город по двое, никогда в одиночку. Обратишься к ним по-русски, отвечают неохотно, боятся: «О чем, мол, говорить, нам некогда». Недавно к одному я уже настойчиво пристал и стал объяснять, что живу, дескать, давно за границей, очень интересно узнать что делается на родине, советских газет не вижу и рад встрече с соотечественником из России. Моряк помялся и просит спутника зайти в лавку за папиросами, а оставшись со мной наедине, машет рукой и говорит:

— Как живем, спрашиваете? Одно слово — скверно!..

В это время возвращается спутник с пачкой папирос в руке, а тот продолжает, как ни в чем не бывало:

— Ничего живем, недурно: теперь у нас все купить можно. Вот приезжайте, увидите сами. . .

— А зачем же ваши все по магазинам бегают покупки делать в Ла Рошеле, если у вас там все в изобилии?

— На память, — отвечает, а сам подмигивает и смеется. И в заключение: — Прощайте, счастливо оставаться...

Последние новости, 11 нояб. 1936, № 5710

15. «СТАХАНОВЦЫ»

Как ни различны условия жизни русских «там» и «здесь», есть, вероятно, в них какие-то сближающие черты, которые вызывают аналогичные явления. Это не полное, конечно, тождество, но параллели напрашиваются сами собой. Некоторые стороны эмигрантского уклада в особенности напоминают знакомые гримасы подсоветской жизни.

Это касается, прежде всего, основного — связанного с тяжелыми материальными условиями существования духовного упрощения. Затем идет целый ряд внешних явлений. Их можно было бы перечислять долго из самых различных областей быта и там, и здесь.

Там, например, — лишенцы и здесь лишенцы, бесправные, забытые люди, забывшие свое вчера, не имеющие завтра и влачащие убогое сегодня. И там и здесь все неуверенно, неопределенно, шатко, а положение представляет собою если не нищету, то ту грань, за которой при малейших неблагоприятных обстоятельствах наступает катастрофа. И там и здесь у русских почти одна и та же «красивая и веселая» жизнь. Там показательные учреждения, созданные для самоутешения, для демонстрации иностранцам и обслуживания ничтожного числа избранных, тут те же эмигрантские «оранжереи». Там всеобщее обучение без кадров, подготовленных и грамотных учителей, здесь четверговые школы, в которых в 32 часовых урока в год самоутешающиеся устроители пытаются обучить не знающих русского алфавита детей русскому языку, истории, литера-

туре и географии. Там творится «великое дело» возрождения человечества, здесь — так называемое «большое русское дело». Там расточаются благодарности за все ниспосланные блага великому вождю, здесь — знатным иностранцам. Народ же, как и полагается ему, безмолвствует, и только наиболее деятельные и энергичные единицы уходят в поощряемую там начальством, а здесь самой жизнью «стахановскую» работу. В конце концов, удачливые и сильные торжествуют, а слабые гибнут, оправдывая единственно не отвергнутый в наше все отвергающее время закон: «Горе побежденным»!

Все это приходит в голову, когда вникаешь в беженскую жизнь, наблюдаешь деятельность эмигрантских учреждений и выслушиваешь множество отдельных биографий.

— Вы больше описываете жизнь слабых, застрявших на положении чернорабочих крупных фабрик в заводских поселках или безработных, — говорит мой новый знакомец, бывший русский морской офицер и нынешний французский торговец молочными продуктами.

— Это очень интересно в смысле быта, но, пожалуй, поучительнее был бы рассказ о тех, кто выбился, что-то создал свое и во всяком случае обеспечил свое положение. Таких, разумеется, не так много, но они, к нашему счастью, есть, и их можно найти в разных областях местного хозяйства. Сидят они в своих углах обыкновенно тихо, в эмигрантской общественности участия не принимают, некоторые давно натурализовались, но по существу, конечно, остаются вполне русскими людьми. Дела тут создавались обыкновенно из ничего, буквально с грошом в кармане, а то и вовсе без денег.

По роду моей деятельности у меня есть несколько адресов сидящих в разных провинциальных дырах соотечественников. Хотите, отправимся вместе на моем автомобиле в первый праздник, хотя бы в район Мо? Там мне, кстати, надо повидать одного полковника-куровода. Хочу у него яиц купить для торговли на базаре.

Маленький, издававший виды и сделавший уже свыше четырехсот тысяч километров «Пежо» вывозит нас обоих в воскресное утро из Парижа.

— Вас не смущает потерянный вид моего лимузина? — спрашивает моряк. — Я на нем не только товар на базар

вою, но и увеселительные прогулки с женой совершаю. Отпуска у меня никакого не бывает. Единственное развлечение — прокатиться летом куда-нибудь в шикарный курорт, в Довиль или Трувиль. Торжественно подъедем к казино, поставим свою «таратайку» рядом с выстроившимися роскошными машинами, а сами идем прогуляться по пляжу или посидим в ресторане. Жена смущается: «Куда ты, — говорит, — ставишь этот пыхтящий примус в таком месте? Стыдно!» А мне ничего. У кого какая есть: у одного лимузин, а у другого «примус». Зато бегаёт без отказа и бензина выходит пять литров на сто километров. Настоящий коммерсант должен на всем экономить.

— А расскажите, как вы стали коммерсантом и что раньше делали?

— Вот выедем на хорошую дорогу, я вам подробно расскажу. История длинная, много пришлось испытать и пережить, пока своего добился. Теперь уверенно могу сказать: стою твердо на ногах и сына на ноги поставлю.

Разогнавшись, «примус» ровно бежит по дороге по направлению к маленькому городку — Куломье. Мелькают отдыхающие поля, уже лишенные листвы яблони крестьянских ферм и частые рощи и сады с разнообразной гаммой осенних красок. Замедлив ход, автомобиль промчится по деревне, мимо церкви, мэрии, затем снова выскочит на широкую дорогу, оставляя позади себя сельское кладбище с неожиданной, сделанной каким-то политическим шутником, надписью, громадными черными буквами на каменной ограде: «Chambre des députés»¹⁵.

— Жизнь моя довольно путана, как у большинства, впрочем, эмигрантов, — рассказывает спутник. — Сначала — Турция, где я организовал из турок рыболовную артель и ловил с нею в море рыбу. Потом — Сербия, где удалось устроиться отлично. Там я служил помощником капитана ходившего по Дунаю парохода. Отношение было превосходное, платили хорошо, работа легкая и знакомая. Но потянуло во Францию. Сына пора было учить, а в Сербии не хотелось, расставаться же с ребенком тоже не улыбалось. Словом, перебрались в Париж. Дела тут обернулись хуже, чем я думал, и пришлось поступить на Рено. Через некоторое время случилось у меня несчастье: заболела жена туберкулезом. Все, что ни зарабатывал на заводе,

уходило на лечение, да на плату в лицей за сына, а состояние жены все ухудшалось. Она перестала даже и вставать. Целые дни лежит в постели. Вижу, надо придумывать что-нибудь, чтобы побольше заработать. Стал я в четыре часа ходить мыть посуду в одно молочное предприятие около площади Итали, а потом, поработав там, — на завод до самого вечера. Однако это продолжалось недолго. На заводе пошли сокращения иностранцев. Как-то вызывает меня шеф и говорит, что с завтрашнего дня меня заменит присланный из главной конторы восемнадцатилетний француз-мальчишка, и просит, чтобы я его за день приучил к делу и объяснил как обращаться с машиной. Тут я уже не выдержал, отказался мальчишке что-нибудь показывать, а придя домой, потолковал с женой и решил, что надо подавать прошение о натурализации, иначе крышка. Но с завода я все-таки ушел и поступил на работу в молочную, принадлежащую знакомому грузину. С четырех часов утра до полудня мыл у него посуду, помогал по производству сметаны и творогу, присматривался к делу, получал за все это 750 франков в месяц. Решил, что после обеда буду развозить по домам на велосипеде молочные продукты. Хозяин согласился и стал давать мне на продажу кислое молоко, творог, масло, сметану.

— Я наскоро пообедаю после работы, а затем на велосипеде и, весь увязанный тюками, тащусь в Пасси, в Отей, по русским домам. В первый день заработал шестьдесят сантимов, через неделю зарабатывал по несколько франков, а через шесть месяцев торговля давала 50 франков в день, не считая жалования за первую половину дня. Однако здоровье жены не улучшилось. Врачи считали ее совершенно безнадежной и посоветовали мне с весны перебраться куда-нибудь поблизости в деревню. «Пусть, говорили, хоть умрет на чистом воздухе». Что было делать? Переселился я в деревню в нескольких километрах от Парижа. Нанял там две комнаты с небольшим огородом. По утрам на велосипеде отправляюсь на площадь Итали, работаю там до двенадцати, а потом развожу товар. За женой ухаживает теща, а я возвращаюсь лишь поздно вечером.

— Тут начинается чудо: вопреки всем предсказаниям врачей жена начинает поправляться. У больной появляется аппетит, она прибавляет в весе. В середине лета она уже

возится на огороде, а к осени чувствует себя совсем здоровой. Везу ее в Париж. Врачи выслушивают, качают головами и заявляют, что легкое совсем зарубцевалось и процесс остановился сам собой. От радости я не чувствую усталости и начинаю работать с утроенной энергией. Торую уже не только в Париже, но и у себя в деревне на базаре. Летом там бывает много дачников. Торговля идет отлично. Денег хватает. Бросив работу в молочной, начинаю сам производить молочные продукты. Это оказывается гораздо выгоднее и увеличивает мои доходы. Однако у меня начинается то, что большевики называют головокружение от успехов, и я делаю невероятную глупость: открываю собственный магазин. Во Франции это нетрудно, даже с небольшими деньгами. Помещение в нашей деревне нашел легко. Заключил контракт, внес тысячу франков, потом в кредит завел всякий там «люкс» — мраморные прилавки, зеркальные стекла, автоматические весы. Потом понаехали комиссионеры и завалили магазин товаром. Все в кредит, конечно, подписывая лишь векселя. Я и расписался. А как пошла торговля, уже на третий месяц стал убеждаться, что дело выходит плохо. К концу года как посыпались на меня векселя за мрамор, да за товары, да за зеркальные окна, я и взвыл. Но хорошо еще, что вовремя остановился и удалось продать лавку. Потом два года вывертывался из долгов.

— И что же, все бросили?

— Нет, молочного дела не бросил. Напротив, повел еще энергичнее и с большим опытом и толком. Переехав на другое место, начал сам производить все молочные продукты, за исключением масла, и торговать на базарах. Жена поправилась и может помогать в этом. Сегодня — на одном базаре, завтра — на другом. Принцип торговли: первоклассный продукт и те же цены, что повсюду. Условия производства я изучил в совершенстве и знаю в этой области все, что надо. Второе — максимальная экономия во всем, в помещении, в транспорте, в использовании непроданных и скоропортящихся продуктов путем их переработки в другой товар, а главное — непрерывная ежедневная работа с пяти часов утра и до позднего вечера. Вот и все. На базаре я делаю обычный оборот в несколько сот франков, кроме того, есть и постоянная клиентура по домам. Знаю, где покупать отличное шарантское масло и где моло-

ко, по ценам ниже, чем покупают крупные фирмы. Таких предприятий я, разумеется никогда не забуду, но они мне не мешают, ибо мои продукты лучше и свежее. Теперь собираемся с женой купить участок и строить дом. Сын тоже знает производство и, как бы ни сложилась его судьба в той профессии, какую он изберет, у него будет и это верное дело. Вот теперь еду искать яйца. Клиенты требуют свежих яиц, в этот сезон их трудно найти. Посмотрим, не найду ли нескольких сотен у полковника-куровода.

Заговорившись, мы теряем направление и начинаем явно плутать между какими-то неведомыми Ребэ и Белло. Расспрашиваем каждого встречного, забираемся все дальше от больших дорог и, наконец, вдали от всякого признака жилья находим у опушки леса, на пригорке, окруженный деревянными курятниками, небольшой крестьянский дом.

Через несколько минут одинокие хозяева, русский полковник с женой, рассказывают нам о своем хозяйстве и отшельнической жизни.

— Каким образом занесло вас в такую глушь? Ведь тут нет поблизости даже железной дороги, не говоря уж о людях?

— Куда нас не заносит! — смеется полковник. — Жил раньше в Париже, потом решил уйти куда-нибудь, именно в глушь, и дал объявление в «Пари-Суар», что ищу маленькую ферму. Явившийся посредник повез нас сюда на автомобиле. Нам понравилось все это, купили, завели небольшое куроводство, переделали и обставили дом и вот живем здесь уже несколько лет. Работы много, не замечаешь, как бежит время. А люди? Зачем нам люди? Поехать раз в неделю на базар в Мо продать кур и яйца можно на собственной машинке. Изредка приезжают навестить нас добрые друзья. А люди, Бог с ними, радости от них немного. Насмотрелись....

Последние новости, 14 нояб. 1936, № 5713

16. У СТАРОВЕРОВ

Строго говоря, это не угол. Староверы рассеяны по всему миру, и рассеяние это началось с давних времен. Духов-

ный центр их находится в Румынии. Во Франции их, вероятно, несколько сотен в общем составе послереволюционной эмиграции, в окрестностях Парижа — около ста. Многие совершенно отошли от своей церкви, к «ревнительству» в делах веры стали равнодушны, и старообрядцами могут называться только условно. Но небольшая стойкая горсточка людей остается верной заветам предков и исторической традиции русского старообрядчества. Для настоящих старообрядцев количество ведь не имеет существенного значения. Внимание здесь всегда обращалось на качество.

— Аще и весь мир от правой веры отступит, и ты един останешься, стой твердо, не отступай.

Ничто, может быть, так не воодушевляло и не поддерживало ревнителей древнего благочестия, как эта, сказанная тысячу лет назад Максимом Исповедником фраза. В борьбе идей слова византийского святого не потеряли выразительной силы и до наших дней. Старообрядчество пережило всяческие гонения, скрывалось в дремучих лесах, уходило на чужбину, перенесло революцию и все-таки живо, и даже здесь, совсем под Парижем, основало собственную общину.

На берегу Марны, в Жуанвилле живет старообрядческий священник, отец Кирилл, в маленькой квартирке которого, на заднем дворе большой пригородной усадьбы, устроена церковь.

С поставленного угла в небольшой комнате иконостаса смотрят лики святых древнего письма, на полке — груда старинных священных книг в тяжелых деревянных переплетах. Это все выписано из России в те годы, когда советская «Международная книга» буквально за гроши разбазаривала из старых хранилищ редчайшие издания. На некоторых — номера библиотеки московского старообрядческого епископа прямо говорят о происхождении книги. Здесь и древний, XVII века, «Апостол», и Псалтирь, крючки старинных церковных напевов, и ряд богослужебных книг, из-за которых пролилось столько крови.

В большие праздники в церкви происходит богослужение, на которое собираются русские староверы. Оно совершается медленно и чинно. Потрескивают восковые свечи, раздаются возгласы священника, все почти так же,

как в обыкновенном православном «никонианском» храме, иначе лишь держатся молящиеся, которые как-то по-иному участвуют в происходящем. Тут не увидишь модной дамской шляпки. По правилам, в церковь надо приходить в опрятном и скромном виде. Поэтому приехавшие из Парижа женщины стоят в белых косынках на головах и в темных платьях. Несколько мужчин в черных пальто, напоминающих в вечернем мраке старинные поддевки, сосредоточенно следят за каждым словом богослужения, которое с детства знают наизусть. Молящихся совсем немного, но церковь так мала, что больше бы и не вместила.

Стоишь тут, и кажется, что все это происходит словно и не в парижском пригороде, на берегу Марны, а где-нибудь в глухом русском углу, в домово́й церкви благочестивого купца-старообрядца.

В будние дни тут же в церкви, у окна стоит небольшой стол и над ним яркая электрическая лампа. Настоятель отец Кирилл корректирует выпущенную им книгу известного старообрядческого деятеля В.П. Рябушинского: «Старообрядчество и русское религиозное чувство». На книге надпись: «Печатана трудами древлеправославного священника о. Кирилла Иванова». А дальше обращение к читателям: «Ввиду скупости средств и необходимости выгадывать на бумаге, пришлось иногда жертвовать твердым знаком. За это, а также за ошибки и опечатки печатник о. Кирилл и составитель книги, по примеру отцов, смиренно просят у читателей прощения».

Книга напечатана на обыкновенной пишущей машинке и воспроизведена на ротаторе в количестве нескольких сот экземпляров. Стараниями печатника она же сброшюрована и переплетена в картонную обложку. Работа сделана с исключительной тщательностью, некоторые главы заканчиваются даже искусно исполненными концовками. Однако неизбежно оказались опечатки, и их теперь о. Кирилл исправляет во всех экземплярах пером от руки.

— Работа большая, — говорит он, — но ничего не поделаешь, надо сделать исправления во всех экземплярах книги. Ужасно не хочется выпускать ее в неряшливом виде. Машинка и ротатор сильно облегчают дело. В старину нашим предкам приходилось все от руки делать. Книга, вероятно, будет иметь спрос и скоро разойдется. Во Фран-

ции, правда, старообрядцев немного, а те, что есть, не очень-то интересуются такими вопросами, но наши разбросаны по всей Европе, есть и в Германии, и на Балканах, больше всего в Румынии.

— А как же управляется теперь старообрядческая церковь?

— Во главе всей церкви стоит митрополит, который имеет пребывание в Румынии. Кроме того, имеется 29 епископских кафедр, из которых пять в той же Румынии и 24 — в России. Трое из этих епископов стоят отдельно, это так называемые «неокружники», а остальные вместе с румынскими составляют епископат древлеправославной церкви.

Отдельные округа у нас автономны. О положении старообрядческой церкви в России прямых сведений у меня нет, но само собой разумеется, гонения были, да и теперь живется несладко. Старообрядцам ведь не привыкать к этому. Если для господствовавшей церкви гонения начались с революции, для нас они пошли со времен раскола, с XVII века. За двести с лишним лет старообрядчество испытало все, и его трудно еще чем-нибудь удивить. Были казни, ссылки, тюрьмы, костры, прямые и замаскированные гонения, уничтожение священной утвари и церковных книг, закрытие храмов, снятие крестов, заточения священников. Давно пошло и беженство от этих преследований веры. Гонимые скрывались в лесах, уходили в Сибирь, перебирались за границу. Для господствующей церкви это началось с Ленина, для старообрядцев Ленин — только последнее звено в трагической цепи: Никон, Петр I, бироновщина, эпоха Николая I и большевизм.

— Можно сколько угодно спорить о смысле самого раскола, этой величайшей трагедии русской истории, но факт остается фактом: громадная часть исконного русского населения подвергалась систематическим преследованиям, которые в отдельные моменты ничем не уступали большевистским гонениям на церковь. Чтобы представить себе всю трагедию простой верующей русской души, далеко ходить не надо. Современный советский режим в его религиозной политике не что иное, как повторение петровского и бироновского в отношении к старообрядцам. Те же казни, пытки, ссылки, доносы, та же атмосфера шпионства, предательства и взаимного недоверия. Теперь ГПУ, а тогда —

Преображенский приказ. Тайная канцелярия. Названия переменились, суть одна.

Обычные обвинения против старообрядцев до самого последнего времени до чрезвычайности совпадали с теми, какие нынешняя власть предъявляет всем верующим людям: невежество, фанатизм и формализм. Кроме того, старообрядцев упрекали в обрядоверии и непонимании сути христианства. В борьбе же с этим непониманием христианства проявилось столько жестокой суровости, что старообрядцы, естественно, брали под сомнение христианство самих обвинителей. Преследования, в сущности, прекратились только в 1905 году, после закона о веротерпимости. Однако полного уравнивания в правах не произошло, и известные ограничения оставались в силе до самой революции. Потом пошли гонения революционной власти уже на все церкви и, главным образом, на Православную, которая в отношении новой, так называемой «Живой церкви», оказалась в таком же положении, как когда-то старообрядческая в отношении никонианской.

Старообрядчество оставалось без интеллигенции, без руководства, и пошло чисто стихийным путем, руководимое одним глубоким религиозным чувством. Первый богословский институт в России был организован в Москве только за несколько лет до войны и не успел сыграть существенной роли. Однако религиозная мысль не замирала. Она культивировалась в среде начетчиков и передавалась из поколения в поколение. В своем развитии старообрядчество само пережило свой внутренний раскол на две ветви, поповцев и беспоповцев, — церковных оптимистов, продолжавших верить в сохранение благодати в мире, и пессимистов, полагавших, что, с уклонением церковной иерархии в «никонианскую» ересь, благодать священства окончательно ушла из мира.

В напечатанной отцом Кириллом книге автор ее В.П.Рябушинский подробно развивает все вопросы, касающиеся истории старообрядчества, отдельные этапы которой столь мало известны в широких русских кругах. Можно не соглашаться с некоторым схематизмом и слишком явным пристрастием, с которым автор рассматривает проблему раскола, в связи с намеченными им путями русской культуры, но ценность кропотливой работы автора и его добро-

вольного печатника от этого не уменьшается. Книга много вносит в понимание самой психологии старообрядчества как своеобразного русского явления, несмотря ни на что продолжающего свое развитие и проявляющего исключительную живучесть.

— Чтобы узнать старообрядчество, — говорит автор, — надо проникнуть в глубину его. При этом необходимо иметь в виду, что русские старообрядцы и после раскола жили не в безвоздушном пространстве и не в замкнутом наглухо царстве, а составляли и составляют характерную часть российской стихии. Они влияли на остальные части этой стихии и, в свою очередь, подвергались воздействию последних.

— Воздействие, несомненно, продолжается и в настоящее время. Пережитые потрясения и споры, при всей их горечи, толкали старообрядческую мысль к выходу из некоторого духовного провинциализма на более широкую дорогу. Лучшим представителям старообрядчества приходится теперь защищать и проповедовать не только древнее благочестие, а благочестие вообще. И в этой новой роли тут выступают талантливый полемист, отличный богослов, недавно выбравшийся из России в Бессарабию, начетчик Ф.Е. Мельников и кишиневский епископ Иннокентий.

— Что же, однако, мешает, — спрашиваю я своего собеседника, — в наше время соединению ревнителей древней веры с православными? Почему они, наконец, не сойдутся?

— Думается мне, — отвечает он, — что у тех и других пока все еще разная тональность, разный характер религиозного чувства. Это основная причина, различие же в обрядах только следствие. Острота исторических расхождений в общих несчастьях, как будто, уже изжита. В старообрядческих писаниях неоднократно встречаются указания, что одним из признаков правоты защитников древнего благочестия и еретичества их гонителей является жестокость последних. «Православные бывают гонимы, сами же других за веру не должны казнить». Теперь мы все гонимы, и нет господствующих.

Последние новости, 29 нояб. 1936, № 5728

17. ЩЕЛИ

Если бытие и не вполне определяет сознание, то оно сильно на него влияет. Жизнь подтверждает это на каждом шагу. И недаром внутреннее, почти подсознательное, ощущение катастрофичности миропорядка так распространено в нервной и впечатлительной эмигрантской среде, в особенности горожан. Все, что ни происходит в мире, только укрепляет это настроение, сущность которого вкратце такова:

— Все непрочно, все расползается. Призрачное сегодняшнее благополучие завтра может разлететься в дым. Предпосылки гибели таятся в самих условиях современной жизни. Рефлексы разума уже бессильны задержать или изменить неизбежный ход вещей. Что-то сорвалось в человеческой душе со своих устоев и мчится навстречу катастрофе, молнии которой сверкают со всех сторон. Благоразумные должны отойти в сторону, обеспечив себе щель, куда можно забиться.

Так рассуждает русский интеллигент, забравшийся за сотню километров на запад от Парижа, в глухую провинциальную дыру. Кругом непроходимая лесная поросль, в которой можно пробираться лишь с топором в руке. До крохотной ближайшей деревушки — больше километра. Единственные соседи — обычное французское зверье: зайцы, кролики, ежи, изредка лисица. Здесь, на приобретенном в рассрочку небольшом участке, обосновался мой собеседник.

— Чего мне было делать в Париже? — говорит он. — Мне 62 года, я старый спортсмен, в России окончил два факультета — естественный и юридический, — знаю несколько языков. Кому это нужно в Европе? Жена-музыкантша дает уроки и иногда выступает, сын устроился в Бельгии инженером. Но все это непрочно. Придет гроза, кому потребуются уроки музыки? Денег у нас нет, да и что значат теперь деньги? Бороться бесполезно: надо отступать на заранее подготовленные позиции. Иного способа отступления, кроме как на землю, куда-нибудь на запад, в глушь, я не придумал. Три года тому назад нашел тут на подходящих для себя условиях участок и на карманные гроши стал обзаводиться. Как водится во Франции, мои четыре гектара состоят из пяти, разбросанных в разных местах, кусков. У

нас когда-то кричали о бедствии чересполосицы. Только в Европе мы стали понимать, что большинство из наших «бедствий» были детскими игрушками. Вот у моего соседа-француза — 44 гектара в 56 кусках! Это уже не чересполосица, а просто каша, в которой черт ногу сломит.

— Но я в своем владении пользуюсь только одним куском. В остальные, поросшие мелким лесом, и не доберешься. Обошлось мне все в шесть тысяч, из которых две пришлось на долю комиссионера. Когда-то здесь находился маленький завод для переработки костей и внутренностей животных. Дело прогорело. Торчала одна труба, была цистерна для воды, колодец глубиной в сорок метров и каменная ограда. Все это представляло большую ценность, ибо давало мне готовый строительный материал и обеспечивало водой. Дальше началась игра ума и спекуляция на кризисе, который разорил строительные предприятия и выбрасывает на аукционы различные материалы по ценам, не превышающим одной пятидесятой их нормальной стоимости. Расчет мой очень прост. Обыкновенно стоимость построек складывается на 75 проц. из стоимости рабочих рук и 25 проц. — материала. Работа мне ничего не стоит: все делаю я сам. Материал на аукционах обходится гроши. На распродажах меня знают все маклаки, с которыми я даже вхожу в предварительные соглашения. Бывает, что они тут же и финансируют меня на сотню-две франков. Таким образом я приобрел железо, дубовые окна, двери, балки, части для сооружения тележки, на которой сам перевозжу грузы. Теперь все налажено и остается работать и работать. Трудно было в самом начале.

— Развалины, груды камня, одинокая труба, кругом — лес и ни живой души. Навезя приобретенных на Центральном рынке ящиков от бананов, стал сооружать себе хибарку. Десять дней спал под открытым небом, на одиннадцатый был готов собственноручно построенный дом в одну комнату. Через некоторое время пристроил кухню, соорудил особое приспособление для облегчения добывания воды из колодца, очистил участок от камней, завел огород, посадил фруктовые деревья. Надо было подумать и о внутреннем благоустройстве жилья: сколотить мебель с таким расчетом, чтобы все необходимое было налицо и поменьше занимало места, позаботиться об уюте. На очереди стоит

обзаведение домашней птицей, развитие огородничества и, наконец, самое главное — постройка большого настоящего дома. Из живности у меня пока только одна глупая собака, которая лает на чужого человека, когда он за оградой, и лижет ему руки, лишь только он уверенно войдет во двор. Невероятная оптимистка.

— К постройке я еще не приступал, но непрерывно подготавливаю материалы. Прежде всего, разбираю по кирпичам фабричную трубу и цистерну. Работа сложная, а я один. Все надо предусмотреть. Приходится выдумывать всевозможные приспособления и усовершенствования. На днях устроил месилку для цемента. Раньше размешивал ручным способом и натер на руках кровавые мозоли. Теперь будет легче. Много возни и с огородом. Земля невероятно камениста, и, прежде чем расширять посевы, необходимо выбрать мелкий камень и самому на самодельной тележке вывести его с участка. Труда положить надо много, но я не жалуюсь и только здесь чувствую себя хорошо. Когда случается бывать в Париже, в городской квартире, я там словно слон в посудной лавке: мне тесно, я задеваю за все углы и не знаю, что с собой делать.

— Не подумайте, что я преувеличиваю свои сельскохозяйственные возможности. Обстановку и условия земледелия во Франции я знаю. Никаких перспектив тут нет. Моя экономика строится на самых пессимистических началах. На случай катастрофы нужна своя нора, в которой были бы свобода, вода, овощи и куры. Огород уже сейчас может прокормить двух человек. Яйцо стоит франк, но себестоимость его десять сантимов. Продать его можно за пятнадцать сантимов, без организации дороже не продашь. Поэтому, выгоднее его потреблять самому. Таким образом, на каждом съеденном тобою яйце зарабатываешь чистые 90 сантимов. Свобода и покой в такой дыре обеспечены в полной мере, и ни один идиот не мешает здесь ни советом, ни помощью. Конечно, чтобы существовать, нужны маленькие деньги, совсем ничтожные, и я их употребляю с таким расчетом, чтобы в случае нужды иметь возможность обойтись совсем без денег. Покупаю в деревне молоко и хлеб, а два раза в неделю мне привозят немного мяса. Крестьяне сами все покупают, даже хлеб. Деревня мертва. Живут в ней старики, детей всего пятеро, молодежь на

заработках в Париже или Дре. В деревне два батрака и одна сельскохозяйственная машина, которая обслуживает всех. Мужики богаты, весной и летом с грехом пополам копаются в земле, а зимой сидят в трактире за аперитивом. Хозяйство ведется лениво и примитивно. Но жить здесь можно, тем более, что я соприкасаюсь со всем этим лишь постольку, поскольку мне нужны хлеб и молоко.

— Никогда за время эмиграции, — заканчивает отшельник, — я не чувствовал себя столь счастливым и удовлетворенным, как в последние два года. Мой труд не пропадает зря. У меня здоровая осмысленная работа, поглощающая все время и дающая некоторую уверенность в прочности моего положения в том хаосе, в каком теперь живет весь мир. Это все, что мне, в конце концов, нужно...

Интеллигенты, создающие собственные оазисы и маленькие мирки, обычно сопровождают это философствованиями. Простые люди очень далеки от катастрофического мироощущения и действуют по наитию почти инстинктивно. И это дает еще лучшие результаты, не только в смысле душевного удовлетворения, но и материального устройства. Таких забившихся в свои щели русских можно найти во Франции немало. Заядлые индивидуалисты, они существуют вне всякой связи с эмигрантской общественностью, вдали от объединений, учреждений и гуманитарных организаций, не имея с ними никаких связей и не рассчитывая на их поддержку или помощь. Живут, что называется, сами по себе, но остаются глубоко русскими людьми. Всем, чего добились, они обязаны своему упорному труду, настойчивости и совершенно исключительной способности приспособления к обстоятельствам.

По дороге в Фонтенбло, в десятке километров от Парижа, встречаю большое русское цветоводство, владельцами которого являются трое простых крестьян Екатеринославской губернии. Старший — бывший солдат белой армии, младшие — двоюродные братья, семь лет назад удравшие пешком из Кобеляк к старшему в Париж.

На нескольких гектарах арендованной земли, за маленьким домиком, где живут цветоводы, устроена оранжерея, за нею идут покрытые стеклянными рамами парники и дальше — гряды уже отцветших хризантем, гвоздики и маргаритки. Летом тут сплошное море цветов, зимой же

становится совсем пустынно. Работа начинается ранней весной и продолжается все лето до ноябрьских праздников Всех Святых, когда у парижских кладбищ продаются десятки тысяч горшков осенних хризантем. Хозяева, изучив в совершенстве дело, работают сами, только в горячее время прибегая к наемному труду, и сами же отвозят цветы в Париж на рынок. Потолковав с ними полчаса, видишь, что цветоводы остались добрыми хохлами из Кобеляк, с обычным малороссийским юмором и легкой хитрецей.

— Как же вам удалось, — спрашиваю, — так развернуться?

— А что же тут особенного, — отвечает один из хозяев. — Старшой наш давно уже во Франции, работал на заводе. А мы сидели у себя в селе и маялись. Потом, как пошла коллективизация, мы с кузеном решили утитать. Побежали в Польшу, а оттуда брат выписал нас по контракту на работы. Год проработали на заводе в провинции, сколотили втроем пять тысяч и взяли в аренду у одного чеха цветоводство. Стали работать да учиться. Присматривались, как другие разводят цветы. Потом немного научились, да и завели свое дело. Работы много. Как весна настанет, цветы садить надо, сначала в парниках, потом в грядки. Работаем с зари до поздней ночи: то пересаживаешь, то польешь, то с паразитом воюешь. А как зацветут, надо резать и везти на рынок в Париж. В прошлом году купили хороший kamion, завели 250 рам и весь инвентарь, провели водопровод. Теперь дело стоит твердо. Весной покупаем по соседству две тысячи метров земли, по-настоящему строиться будем, а то на чужой земле неохота.

— А каковы же ваши доходы?

— Доходы ничего. В первый год прожили и отложили 20 тысяч. Во второй — заработали 30 тысяч, в третий — дождей слишком много было — выручили только 20 тысяч. Никому не рассказываем о делах, чтобы зависти какой не было, а жаловаться не жалуемся. С соседями живем неплохо. Французы народ хороший, если что понадобится, всегда помогут, документ какой добыть или еще что. Ну, а мы в долгу не остаемся: кого угостишь, кому цветов подаришь. В октябре здорово поторговали, к «Туссану»¹⁶ четыре тысячи горшков одних хризантем продали. У нас цветок к цветку, каждый с кобелякский кавун будет! Раньше все

доставать приходилось, а теперь сами и черешки и семена разводим. Вон, видите, запасы на весну приготовлены «жирофлэ». Не знаю уж, как это по-русски будет. Мы все цветы по местному зовем. В Кобеляках этим не занимались: хлеборобы были. Зимой отдыхаем. Брат жениться собирается на польской бабе. Деловитая, серьезная женщина. Своим на родину немного помогаем, вчера через банк восемьсот франков перевели. Да у нас там мало кого осталось. Отца в тюрьме еще в 29 году убили, мать замучили, в колодец опускали. Она и умерла. Остались сестры да племянники. Хорошо, что сами ноги унесли. Первые годы было трудновато, теперь ничего. Стараешься вести дело осторожно, не зарываться. Живем, разумеется, скупенько. Иначе ничего нельзя сделать. При нашей работе едим, конечно, хорошо, горилку пьем, но не дюже и только зимой, а во время работы ни-ни.

— Теперь, значит, немного выпиваете?

— Ну, а как же не выпивать: я ж человек, а не яка-нибудь свинья!..

Последние новости, 13 дек. 1936, № 5742

18. В СНЕГУ

— Не советую вам приезжать в Южин, — писал мне местный старожил. — Наша дыра не даст вам интересного материала: все серо вокруг, кисло до тошноты и порядком само закисло. Уже настала зима. Мороз. На горах снег. Русские позабились в свои норы, из которых почти никто и не выходит иначе, как на завод. В крайнем случае, вашу поездку лучше было бы отложить до лета. Впрочем, вам виднее...

О том, что Южин — исключительно глухая, заброшенная в горах Савойи дыра, куда надо добираться чуть ли не семнадцать часов с двумя пересадками, я знал еще в Париже. Но, по парижским сведениям, южинская русская колония — одна из самых крупных, в которой, якобы, насчитывается свыше тысячи русских рабочих, не считая жен и детей. Поэтому мой интерес к ней после полученного письма нисколько не ослабел. Сведения оказались сильно преувеличенными, как обычно преувеличивается почему-то

у нас число русских. Может быть, в прошлом их тут и было до тысячи человек, — теперь осталось не больше трехсот. Да и это количество непрерывно уменьшается, так как что ни месяц, кого-нибудь хоронят. Родятся и растут, правда, дети, но это уже новая и совсем иная смена, которую скоро вряд ли можно будет и назвать русской. Воспитываются они в коммунальной школе, а свободное время проводят среди сверстников — детей рабочих — итальянцев, французов и поляков, болтая на некоей фантастической смеси разных языков, представляющей местное простонародное наречие. Как ни старается четверговая русская школа внести кое-что свое в детское сознание, из этого получается мало. Что можно сделать раз в неделю!

— Божья Матерь, — рассказывает девочка на уроке, — зашла в пещеру, куда загоняли свиньев и оццов...

Южин — это небольшой фабричный поселок в ущелье между альпийскими горами. В одном направлении от него идет извилистая дорога на Аннеси, в другом — на Альбервилль и Шамони. Посередине — сталелитейный завод, центр и узел всей местной жизни. За ним тянутся заводские постройки: дома для администрации и инженеров, а дальше — громадные, пятиэтажные корпуса рабочих квартир, «батиманы», как их зовут русские, или «колхозы», как выражается священник, отец Иоанн. Со всех сторон теснятся покрытые ярким снегом горы. Снег лежит и на дворах, и у дороги, и на огородах. За ночь в окне моей комнаты мороз развел причудливые, давно забытые узоры, сквозь которые виднеются оранжевые блики на вершинах и покрывающая все кругом белая пелена с торчащими кое-где силуэтами деревьев. С улицы несутся веселые крики копошащейся в снегу с салазками и лыжами разноплеменной детворы.

— Любуетесь нашим пейзажем? — прерывает мои наблюдения хозяин. — Многим горы нравятся поначалу, а я никак не пойму, для чего Господь учинил эти бородавки на земном шаре. Надоели они, дают. После донских степей в горах чувствуешь себя, точно в тюрьме.

— А вы из донских равнин? Казак, вероятно? Ну, вам горы, конечно, ни к чему. Родные остались на Дону?

— Вся семья там. Дети выросли. Переписка идет что-то туго. Уже сколько лет прошло, как расстались. Жена как-то писала, что учительствует в станице, и даже доклады о

международном положении читает. Ну, я ответил ей, что вот сижу в центре этого самого международного положения и ни гвоздя не понимаю, а ей там со станичной колокольни, само собою разумеется, виднее...

— А как же здесь сложилась русская жизнь, какие у вас имеются организации?

— Организации все — налицо, как всюду. Есть церковь. Завод дал помещение в бараке и взял на себя некоторые расходы по ее содержанию. Есть хор, приходской совет, четверговая школа, которую посещают около сорока детей. А вообще детей, пожалуй, больше сотни. Есть и другая, устроенная в бывшей кузнице, церковь, карловацкая, но в ней нет постоянного священника. Из общественных организаций имеется все то же, что и в Париже: общевойсковой союз¹⁷, казачья станица, трудовое христианское движение, русский клуб, общественная библиотека, русский комитет для связи с администрацией, шесть столовых, младороссы, витязи, станица вольных казаков, наконец, группа возвращенцев. А уж как они живут и действуют, смотрите сами. Я же характеризовать затрудняюсь. По нашим условиям, это — дело деликатное. Тут такое положение, что в одном «батимане»¹⁸ кто ни чихнет, сейчас же во всех других становится известным, а с газетчиками и вовсе говорить опасно... Словом, от комментариев, как говорится, меня, пожалуйста, увольте...

Освободив осторожного хозяина от комментариев, направляюсь по русским учреждениям добывать их самостоятельно.

Свежий, морозный воздух приятно бодрит, под ногами похрустывает снег, ярко светит солнце, и холода почти не чувствуешь. С дороги панорама кажется еще лучше, чем из окна. Покой и тишина в поднимающихся к бледно-голубому небу скалах, белые космы на ветвях елей, иней на деревьях и телеграфных проводах, бурлящий поток горной речки в белоснежных берегах. Вдали, на скатах гор — приземистые строения крестьянских ферм и узенькая, убегающая в ущелье, полоска железнодорожного пути. Чем ближе к заводскому поселку, тем меньше обращаешь внимание на чудесную природу и больше на создания человеческих рук.

Две главных улицы сходятся почти под прямым углом. По сторонам — старые, грязные дома, рабочие трактиры,

обычные провинциальные лавки с незатейливым товаром, дальше так называемые виллы, а по настоящему — небольшие, сложенные из грубого серого камня особнячки для аристократии поселка. У самого завода — несколько казарм для рабочих-холостяков. Большой, унылый и грязный дом в три этажа, где вдоль длинных коридоров тянутся ряды комнат. Тут же помещается в бесплатно предоставленной заводом комнате русская библиотека с тремя шкафами собранных за десять лет книг и столом для чтения нескольких газет.

Газету читают почти все, но книги — мало. Подписчиков в библиотеке числится 40 человек. Спрашиваются преимущественно легкие романы, и только три человека читают мемуарную литературу. Серьезных книг, по словам библиотекаря, два раза в день за 80 фр. в месяц меняющего желающим книги, никто не читает, да и нет их вовсе на книжных полках.

— Пожалуй, больше читают женщины, — рассказывает она мне. — Мужчины утомлены работой, в часы досуга сидят в кафе или играют в карты. Даже кинематограф мало кто посещает. Какая уж тут жизнь, — вино и сплетни! Никаких у нас, строго говоря, ни правых, ни левых — нет. Вообще, никаких идей не осталось, да не знаю, и были ли когда. Живут люди, как полагается в таких дырах, маленькими страстишками да отупляющей работой изо дня в день, из года в год. Организации — только на бумаге. Все расползлось, а что еще не успело, расплзается постепенно.

В соседней маленькой комнате помещается воинский союз. На голых стенах пожелтевшие портреты белых генералов, посредине — стол, за которым иногда собираются пять-шесть старых ветеранов этого хиреющего повсюду союза. Рядом — христианское трудовое движение, объединяющее несколько десятков человек. О деятельности его лучше всего, надо думать, говорит прикрепленная одной кнопкой у входной двери записка: — Правление Р.Т.Х.С. извещает своих членов, что выписанный из Парижа боченок селедок уже прибыл. Записавшиеся на селедки лица могут получать их в часы дежурства у членов правления по вторникам и субботам.

В другом таком же доме находится приютившийся в одной комнате клуб. Помещение, так же как и все рабочие

квартиры, вероятно, не лучше и не хуже, чем где-нибудь в рабочих поселках России. Там неуютно и грязновато, и здесь тоже. Там висят одни портреты, здесь другие. Но не в портретах дело. Среди заставленной столиками комнаты сменившаяся после утренней работы компания сражается в беллот.

Времяпрепровождение русских в таких углах разнится очень немногим. В одних играют в беллот, в других в преферанс, в третьих в лото. В одних в качестве напитка предпочитается обыкновенная водка, в иных ликер или красное вино. Последнее, впрочем, в ходу повсеместно и отнюдь не исключает остального. В Лотарингии же пьют, кроме всего прочего, немецкую водку, запивая пивом. Результат получается быстрый и в конце концов самый дешевый.

— Печален русский Южин, — говорит мне двенадцать лет просидевший здесь человек. — Оно, конечно, в газетах полагается писать, что все, мол, обстоит благополучно. Начнет кто-нибудь описывать нашу жизнь и пойдет заливать: и церковь есть, и клуб, и общественность ключом бьет. Для чего это, я вас спрашиваю, пишется? Может быть, где-нибудь какие намеки общественной жизни и наблюдаются, но не поверхностно надо о ней судить, а вникнуть в самую суть дела. У нас вот чуть ли не пятнадцать организаций, а много ли в них народу? Если это делается, чтобы не угашать духа, то ведь не дети же мы, — сами все видим и понимаем. Слащавой розовой водицей не зальешь больше нашей беды и не украсишь жизни. Надо сказать честно — плохо живем и с каждым годом хуже...

— Однако чем же уж так особенно у вас плохо? Безработицы тут нет, как в больших центрах, заработки небольшие, но жить можно, никто не голодает...

— Все это верно, — вмешивается другой рабочий, — но сил больше не остается. Вот я, соблазнившись большими заработками, шесть лет назад по контракту приехал сюда из Эстонии. А теперь проклиная себя за это. Казалось, что можно будет что-то заработать, а потом, как начался кризис да сокращения платы, все стали едва дышать. А работа на металлургическом заводе тяжелая, пошли простуды, да аксиданы¹⁹, да заболели старые раны, да приходит старость. Скоро и с завода-то многих прогонят. Кому нужны старики? А у меня дети мал мала меньше, пока учатся, а как

15 лет стукнет, — тоже на завод? О том ли я для них мечтал? Так вот и живи из поколения в поколение. Для чего все это?

— Детей у наших много, это правда, — продолжает первый. — Понаехали-то сюда все холостыми, а потом стали выписывать из Эстонии себе невест. Одни по письмам, другие по объявлениям. Иногда и складывались хорошие семьи, а другой раз получалось такое, что и не расскажешь. Один вот выписал себе невесту, а когда она должна была приехать, он оказался занятым на срочной работе на заводе. Ну, естественно, попросил встретить приезжую приятеля. Тот пошел на станцию. Все как полагается, встретил. Видит, девица ничего себе, понравилась ему. А та ему и говорит: — «Что же вы и будете жених мой?» — «Нет, — отвечает, — я только приятель жениха, пришел вас встретить, а он занят на заводе». — «Ах, какая жалость, а вы мне очень понравились с первого взгляда». — «Да и вы мне, собственно, понравились. Давайте-ка поженимся с вами, а приятелю я выплачу расходы по вашему путешествию все до копейки!». На том порешили и поженились, а приятель — с носом. Теперь выписывает другую. У нас все дамы эстонки или латышки, русских мало.

— В Эстонии-то лучше было, — говорит третий. — Там совсем русская жизнь. Все тебя понимают, и к России ближе. А тут вот десять лет сижу и до сих пор по-французски не умею объясниться. Относятся к нам неплохо, но с некоторым презрением, вроде как к арабам. Заведующий персоналом на заводе — хороший человек, но, что поделаешь, когда сами русские вмешивают его в свои споры и семейные дразги. Он иногда даже мирить пытался мужей с женами. Соединит руки и торжественно произносит: «Живите в мире!». Потом это ему надоело, и он потребовал, чтобы колония образовала свой комитет, через который должна с ним сноситься. Если бы не требование администрации, ни за что мы не объединились бы. А тут собрались все и выбрали комитет, под председательством нашего священника, который хорошо говорит по-французски.

— Зброшены мы здесь. Никому до нас нет дела. Если обращаются к нам, то только за каким-нибудь сбором, то на тех, то на других. А сами мы от этих сборов ничего не видим, хотя есть у нас свои инвалиды, туберкулезные и дети.

Да и вообще-то какая у нас связь с Парижем? Редко кто и бывает там. Вы сами там — по себе, мы сами — по себе. Одно слово — существуем...

Последние новости, 10 янв. 1937, № 5770

19. «ЛИШНИЕ ЛЮДИ»

В расположенном в ущелье между горами заводском поселке со странным южноамериканским названием Риу-Перу когда-то был свой «русский гарнизон» и старый генерал, «гарнизонный начальник», который издавал «приказы», обязательные для всех работающих здесь на алюминиевом заводе русских.

— Все прибывающие в город, — писал в приказе генерал, — воинские чины должны вступить в церковный приход и произвести ежемесячные взносы.

В «древний» период эмигрантской истории «приказы» не только писались, но и исполнялись. Сейчас нет больше ни приказов, ни «гарнизона», а сам генерал умер.

В Риу-Перу было раньше довольно много русских. Теперь осталось около шестидесяти человек. Работа на заводе идет полным ходом. Рабочие устроены прилично, в квартирах есть не только центральное отопление, но в некоторых даже ванна. За последнее время из русских увольнялись только те, кто за старостью к работе оказывались неспособными. Таких теперь повсюду становится все больше. Время работает против эмигранта. Приехав во Францию в цветущем возрасте 30-40 лет, он лучшие годы жизни отдал местной промышленности. Кому было около тридцати, подходит к пятидесяти, кому около сорока к шестидесяти. В эти годы человек уже не работник, за которым гонятся, даже если есть надобность в рабочих руках, как это было пятнадцать лет назад. Заводу нужны молодые силы, и людей старше сорока обычно не берут, независимо от процентной нормы на иностранный труд. В крайнем случае, если, в связи с широким планом общественных работ, не хватит французских рабочих и потребуются иностранцы, их скорее начнут выписывать из разных стран, русские же, за исключением молодежи, будут просто не нужны. Ино-

гда, даже теперь, бывает нужда в хороших специалистах: электротехниках, слесарях, спайщиках металлов. Но рабочая квалификация русских сравнительно редко продвинулась вперед. Проработав десять лет на каком-нибудь большом заводе чернорабочим или таксистом, человек так и остался тем, чем был, только лет ему стало больше, да сил меньше, да здоровье хуже. Если в связи с кризисом он не потерял работу, он так и тянет свою лямку. В «древнем» периоде были надежды на пресловутые «весенние походы», мысль о которых усиленно культивировалась из эмигрантских военных центров. В «средний» период надежды поувяли. Теперь все это прошло, в «походы» и в «вождей» никто не верит, живя лишь полубессознательной верой в некое чудо, которое, наконец, свершится и все устроит. Кто лишился и этой веры, тому совсем плохо. В лучшем случае он окончательно уходит в мелочи сложившегося быта, в худшем, к сожалению, весьма распространенном, просто — в пьянство. Впрочем, одно другого не исключает.

Независимо от решения вопроса о «плановом» хозяйстве в государственном масштабе, надо признать, что «план» в индивидуальном, особенно духовном, устройении имеет громадное значение. Рабочий итальянец или поляк, обычно совсем простой человек, работает, чтобы скопить некоторую деньгу, которая ему поможет встать на ноги у себя на родине или, если удастся, здесь. Мелкий русский предприниматель (крупных в провинции почти нет) рассчитывает улучшить свое положение за границей. Иногда люди с «выдающимися подбородками» умудряются добиться самостоятельного положения, выбившись из простых рабочих. Таких приходится встречать, но это повсюду единицы. Русский рабочий, каких огромное большинство, из бывших офицеров, чиновников или служащих, не имеет никакого плана, кроме как просуществовать. Хорошо, если у него есть семья. Как это ни осложняет жизнь, появляется, хоть ограниченный в своих возможностях, план рращения и воспитания детей. Когда и такого «плана» не оказывается, в жизни ничего не остается, кроме завода, для поддержания жизни, и алкоголя — в дни отдыха.

Нет правил без исключений. Есть, разумеется, исключения и в этом отношении. Мне уже не раз приходилось их отмечать. Несмотря на то, что мы представляемся ино-

странцам все на одно лицо, словно китайцы, нигде, может быть, не встречается такого разнообразия, как именно у русских. В этих поездках по русским углам каких только людей не встретишь, каких путанных и невероятных биографий не узнаешь!

В убогой каморке большого дома рабочего поселка, в горах Савойи, встречаюсь с бывшим рабочим металлургического завода. В углу на железной печке греется чайник. На ветхом диванчике, рядом с единственным другом, мирно спящим псом, сидит старик хозяин. Свисающая с потолка электрическая лампа ярко освещает его старческие черты, с устало улыбающимися глазами и узкими, втянутыми губами, прикрывающими беззубый рот.

— Я лишний человек, — говорит он, — совсем лишний, а не как чеховские люди. Те сдуру притворялись. Но ничего, живу. Остался один вот с этим псом. Жизнь вышла путаная, что поделывать. Вот уже год, как не могу работать после болезни. Нашелся добрый русский человек, который приютил и кормит. Столярничаю немного. Случается иногда подработать.

— А как же вы сюда попали?

— Да как мы все попадаем, кто разберет, зачем и как? — посмеивается старик. — А как вы сами сюда попали? А все остальные, и почему именно они, а не другие? Все в жизни случай, а в наши времена особенно. В молодости в России я больше по тюрьмам сидел. Тоже случай: с юных лет оказался в эсерах. А почему? Теперь-то я отлично понимаю. Случай в эту среду ввел. Потом работал, где придется. Был волостным писарем в деревне. Потом в Петербурге учился электротехнике. Потом попал в разгар выборов в первую государственную Думу в Псков и сотрудничал там с местной газетой. Через несколько лет вышли неприятности с начальством. От газетного дела пришлось отойти и заняться электротехникой. Но и это ненадолго. Без денег перебрался в Питер, устроился десятником на постройке Охтинского моста. Как-то глубокой осенью по пьяному делу выкупался в Неве и схватил жестокую простуду. Долго отлеживался в Обуховской больнице, а поправившись, поступил на Путиловский завод. Тут меня застала революция. Как старый эсер, прошел в совет рабочих депутатов и получил командировку в Псков, налаживать там совет.

После октябрьского переворота занесло в Эстонию. Там женился и застрял. Жил ничего, но через несколько лет разошелся с женой и решил ехать зарабатывать деньги во Францию. По контракту нанялся на местный завод, поработал два года и, хлоп, заболел. Послали в город, в больницу. Вырезали там мне что-то, да так и не разобрал я, что именно: по-французски ведь почти ни слова не понимаю. Вышел из больницы, а на работу уже не принимают, да и не годен больше я к заводской работе. Столярничать, да за огородом смотреть еще могу. Какой уж я работник!.. Книги в русской библиотеке выдаю. Книжки я люблю, пожалуй, больше своих подписчиков. Немного их у нас. Да и читатель другой пошел. Раньше у людей бывали любимые авторы. Теперь никто никого не любит. Читают больше для развлечения, на сон грядущий, что позабавнее. Чтение стало развлечением, да и то таким, которому многие предпочитают карты или вино. Нельзя судить за это нашего брата. Что делать? Тяжела жизнь, тоскуют люди. Наши разбросаны здесь повсюду, все маленькими кучками. В Валяне, около Гренобля, 40 русских. Некоторые работают на заводах, а некоторые подметают улицы. Большинство холостые. В Армантьер 20 русских работают в отделении алюминиевого завода. Живут плохо. В Риве тоже осталось около двух десятков. Там у них есть какая-то организация. В Аннеси насчитывают около сотни. Занимаются, кто чем случится. В этом отношении всюду одно и то же. За исключением сносно устроившихся единиц, которые уже и вышли-то из русской жизни и держатся подальше от соотечественников, большинство работают чернорабочими, пока есть силы. А когда они иссякнут, остаются на улице, как я, если не найдется своего же доброго человека, который подберет.

— Разве никакой помощи от местных учреждений у вас не получают?

— Какая уж там помощь? Мы иностранцы. Покуда годны к работе, — работайте и живите, а не годны, устраивайтесь, как хотите, только не попадайтесь. В некоторых местах дают шوماж, но до известного срока и возраста. Старикам не полагается. Они уже не работники. Теперь очередь за детьми. Как подрастут, пожалуйста на завод, пока годны. А там и с ними будет то же. Детей и молодежь особенно жалко. Те-то, кто тут родились, все будут французами и

понемногу рассосутся и утрясются, а с теми, что постарше, прямо беда! Французы не французы, русские не русские. От своих не отстали, к чужим не пристали. Им тяжело будет. Поистине — без вины виноватые. Трудно жить на чужбине, что и говорить. Дернула, можно сказать, нелегкая...

— А что же, кто-нибудь уезжал отсюда в чужие края? — Случалось. Одним удалось вернуться в Сербию. Другие перебрались куда-то в Чили или Перу. Таких немного. Так, семей пять, шесть. Много я на своем веку мотался, и только к старости догадался, что зазря это. Человеку надо сидеть на одном месте, где родился, и не болтаться понапрасну. За самым редким исключением ничего из этого хорошего не бывает. А уж если сорвался со своего места, то сиди прочно на каком другом. Бродяг никто не любит, и счастья им никогда нет.

Старик сердито хмурит брови и нервно дергается на диване. Встревоженный пес поворачивает голову и рычит в мою сторону. А я поднимаюсь уже прощаться. Надо ехать дальше.

— Молчи, дурак! Это свой. Такой же, как и мы с тобой, — ворчит провожающий меня к выходу хозяин.

После жарко натопленной каморки на воздухе кажется совсем холодно. Солнце уже село, и с гор потянулись длинные тени. Мороз усилился. Больше похрустывает подмерзший снег. На маленькой полутемной станции пустынно и холоднее, чем на дворе. Откуда-то из мрака показываются два глаза паровоза. Через несколько минут сижу в купе и грею на отоплении окоченевшие ноги. Путешествие продолжается.

Против меня два пассажира, только что прервавшие беседу, к которой они возвращаются, лишь только двигается, направляясь в Гренобль, поезд. Собеседники французы. Старший в дорожном плюшевом пальто, с упитанным самоуверенным лицом и бурбонским, резко очерченным носом. Младший, по-видимому, недавно призванный на военную службу, юноша в морской форме.

— Ты посмотри, — говорит старший, — как богата и разнообразна наша прекрасная страна! Чего только у нас нет? Все есть. Горы, поля, пастбища, моря, реки. Сколько угодно своего хлеба. Налаженная промышленность, вели-

колепные фабрики и заводы. Откуда же идут на нас все эти несчастья, которых не знают беднейшие, в сравнении с нами, страны? Откуда весь этот разлад и беспорядок? Поверь, мой друг, это все оттого, что страна переполнена иностранцами. Они в политике, в хозяйстве, во всех отраслях жизни. И с этим, прежде всего, надо кончать. Гнать их нужно, гнать, и чем скорее, тем лучше! Это, прежде всего, надо усвоить каждому молодому французу.

Последние новости, 23 янв. 1937, № 5783

20. ГРЕНОБЛЬ

Приехав в Гренобль поздно вечером, не представляешь, что ждет тебя утром. С обыкновенного вокзала попадаешь на обыкновенную привокзальную улицу, с редкими магазинами, частыми гостиницами и шаблонными кафе. Первое впечатление — обыкновенный, сонно-провинциальный город. Но выйдя утром из отеля, сразу меняешь мнение.

Все залито солнечным светом. Воздух чист и прозрачен. Поросшие лесом горы точно наступают в расположенный у подошвы город. За ними вдаль тянется целая гряда снеговых вершин, с причудливой игрой бледно-розовых и синих пятен, а еще дальше — едва виднеющийся, уходящий в небо и почти сливающийся с ним Монблан. Величественнее панораму трудно придумать!

Но очарователен и сам город, один из древнейших в Европе и сохранивший прелесть глубокой старины. Под именем Кюляро это был один из городов аллоброгов²⁰, в эпоху римлян он назывался Грацианополис, в средние века принадлежал епископам и затем Альбонским графам, в середине XIV столетия перешел под власть французских королей и стал уделом дофинов. После этого тоже прошло немало времени, и против массивного здания собора, основанного 700 лет назад, уже давно поставлен памятник столетия Великой французской революции.

Своими Альпами, пейзажами, воздухом и стариной Гренобль издавна привлекает туристов, а его университет — иностранных студентов, в том числе русских. Эта традиция здесь сохранилась и до сих пор, когда число уча-

щихся иностранцев во французских университетах сильно сократилось. Среди студентов здесь можно встретить представителей различных национальностей. Есть небольшая группа русских советских и еще меньшая эмигрантских. Любопытно, что и в Гренобле приезжая молодежь сходится, главным образом, с иностранной, а не местной. Русские же и вовсе держатся особняком. Появился и совершенно новый для Гренобля тип бедного студента-иностранца. Как раз в дни моего приезда местные газеты были заняты судьбой заинтересовавшего их грузина Намулешвили, который, поступив на филологический факультет и старательно продолжая свои занятия, поселился в горах на Ла Тронш в простой палатке.

Пока стояла теплая погода, робинзоновское существование было сравнительно легким. Но с ноября настушили холода, в горах выпал снег, температура упала ниже нуля, а грузин, как ни в чем не бывало, продолжал жить в палатке, согреваясь приготовленным на спиртовке чаем.

— На комнату, — говорит он, — у меня денег нет. Впрочем, я на свое жилище не жалуясь. По ночам, правда, приходится потеплее одеваться. Единственно, что донимает, это соседи — дикая кошка, которая вчера ночью чуть не покусала мне ноги, да крысы, таскающие и грызущие мои книги. С ними, действительно приходится серьезно воевать...

С гор Ла Тронш открывается прекрасный вид на город. Кругом лежит снег. По склонам лишенные листвы деревья. Среди снега одинокая палатка. В ней помещается лишь складная кровать и ящик с аккуратно расставленными книгами. На ящике спиртовка и ацетиленовый велосипедный фонарь, которым по вечерам освещается своеобразное студенческое жилище... День-два при хорошем здоровье и молодости так пожить еще можно, но вряд ли бедный грузин вытянет всю зиму! Посетившие его журналисты сфотографировали его, наговорили ему кучу хороших слов в газетах, по которым все выходит весело и забавно. Однако, как ни мужественен в перенесении лишений грузин, веселого во всем этом мало.

Впрочем, в жизни все так. Один и тот же предмет может быть рассмотрен под разными углами. С этой точки зрения и сам Гренобль как бы двоятся. Одно дело Гренобль туристов и любителей лыжного спорта, очаровательнейший

французский город, другое — тот же Гренобль — русский эмигрантский угол. Если символом первого может служить величественный собор Нотр-Дам и окруженные парками особняки в Ла Тронш, символ второго — местная русская церковь в угольном подвале мрачного, старого дома и рабочие кварталы на набережной Дарк, за Висячим мостом через Изер.

Показывающий мне церковь священник, отец Георгий, обращает мое внимание на ее древнехристианский вид.

— Это подземелье, — говорит он, — которое русские своими руками выбелили и привели в нынешнее состояние, обходится нам в 80 франков в месяц. К сожалению, приход беден, взносы на содержание храма скромны и нерегулярны: приходится довольствоваться катакомбами. Плохо только, что спускаясь по узкой темной лестнице, можно поломать ноги. Однако бедность храма имеет, по-моему, свою привлекательность. Она вполне соответствует нашему положению,

Как всюду в провинциальных церквях, все убранство сделано самими членами прихода. Со стен и иконостаса смотрят наивно-любительские лики икон. Кирпичный пол покрыт скромными коврами, в самодельных лампадках мелькают неугасаемые огни. Но вдруг вспыхивает электричество, и подземный храм действительно приобретает какой-то особый, сияющий белизной вид.

Русских в Гренобле осело более трехсот человек. Раньше было больше, но одни вернулись в Сербию или переселились в иные места, другие — ушли на землю, третьи — перекочевали в Париж. Почти все, за исключением нескольких человек, живут физическим трудом на местных фабриках и заводах: цементном, пуговичном, каучуковом, турбинном, производстве искусственного шелка и т.д. Существенного сокращения производства в этих отраслях за годы кризиса не происходило, и поэтому безработицы Гренобль почти не знал. Но сокращения заработной платы производились не раз, и только в последнее время она снова восстановилась в размерах, обеспечивающих скромное рабочее существование. Средний заработок составляет 700-1000 фр. в месяц.

Русские рабочие разбросаны по фабричным районам, одни у цементного завода, другие у каучуковых и искусс-

венного шелка. Условия труда всюду нележки, особенно в резиновом и шелковом производстве. В мастерских на прессах при обработке резины температура доходит до 50 градусов. Летом рабочим делается прибавка «на жару», но зимой ее не полагается. На одном большом заводе люди страдают от отравления парами синильной кислоты. Только после забастовок рабочим стали выдавать специальные маски, раньше об этом никто не думал. На почве отравления один за другим произошло несколько случаев внезапного помешательства. Пока с ума сходили русские и поляки, ничто не менялось. Рабочих отправляли в сумасшедший дом, а на их место брали новых. Потом сошел с ума рабочий-француз, в дело вмешались синдикаты, потребовали мер предосторожности.

Среди русских часты заболевания чахоткой. За четыре года деятельности в Гренобле о. Георгий похоронил сорок человек, в возрасте от 40 до 45 лет, не считая стариков, умерших от других болезней.

— Болеют у нас много, — рассказывает мне бывший офицер-рабочий, — ну, что же, захворает человек, свезут его в загородную санаторию, принадлежащую частному обществу, которому город сдал заботу о больных. Все знают, что «санатория» — просто свалочное место для использования человеческого материала. Выход оттуда только на кладбище.

За рекой вдоль набережной идут однообразные рабочие кварталы. Серые, какой-то упрощенно-казарменной архитектуры, холодные дома с маленькими квартирками по две комнаты. В квартирах сыровато, темновато и грязновато. Некоторые заводы предоставляют рабочим так называемые «временные» бараки. Все в жизни временно, и бараки и сами рабочие, но жить в них людям приходится многие годы.

Никакой объединяющей русскую колонию организации так и не создалось здесь. Есть, правда, свое отделение Общевоинского союза, галлиполийцы²¹, Христианский трудовой союз, всякие разведчики и витязи, но все это охватывает маленькие группы людей и постепенно замирает. Почему-то так случилось, что единственным общеэмигрантским учреждением, на обязанность которого легла и материальная помощь нуждающимся, и выдача всевозможных удо-

стоверений, без которых часто нельзя ступить шагу, оказался комитет Красного Креста. Строго говоря, и это не столько общественная организация, сколько результат частной инициативы одной имеющей возможность заняться благотворительными делами энергичной русской дамы. Как часто у нас бывает, комитет есть только титул, а действует один человек. Но человек может ошибаться, может многого не знать, наконец, преувеличивать значение и беспристрастность своей, может быть, за отсутствием другой, очень полезной деятельности. Отсюда неизбежные нарекания и неудовольствия, какими сопровождается такая частная инициатива.

— Какие уж тут организации! — печально повествует мне один русский местный житель. — Общественная жизнь замирает. Офицерское собрание, в небольшой сырой комнате с громадными портретами генералов на конях, посещают человек десять. Живут тем, что вспоминают, как спасали Россию. Но ювляются и другие настроения. Один русский говорит: — «Я только три года был офицером, а вот теперь десять лет состою рабочим. Что же я больше: офицер или рабочий?» И в самом деле, он, конечно, больше рабочий. Пролетаризация эмиграции сказывается особенно в последнее время, когда русские, поначалу неохотно и осторожно, а чем дальше, тем сильнее, входят в синдикаты и присматриваются к профессиональному рабочему движению, дающему им улучшение условий жизни и труда. Другой русский офицер, занимающийся сапожным ремеслом, мечтает о возвращении в Россию: «В России тоже буду подбивать подметки, — говорит он. — На русские сапоги мне это будет гораздо радостнее делать!» Две семьи после забастовки и вовсе стали коммунистами. А вообще, все полевели, кроме безнадежных зубров. Но этих становится все меньше. Шумят еще сторонники Национального союза нового поколения и объявляют бойкоты «Последним новостям». Но это преходяще. У нас ведь на организации вдруг возникает и потом быстро проходит мода. Сначала была мода на новое поколение, потом на младороссов, затем на каких-то разведчиков и совсем недавно на витязей. Но мода модой, а из 100 с лишним детей в действующей с перебоями русской школе по четвергам учатся — двадцать! Почти никто не знает русского алфавита и не умеет читать и пи-

сать. Эмигрантской смены не будет и никакими «витязями» здесь не поможешь. Замирает и политика. Еще два года назад были споры, смуты. Теперь все побледнело, люди замыкаются в себя, в свои норы, или соединяются по иным признакам.

— У нас в соседнем городке, — вмешивается другой собеседник, — единственной жизнеспособной организацией оказалось общество под названием «Гроб и Крест».

— Почему такое мрачное учреждение? Какие у него цели? Что-нибудь мистическое?

— Ничего мистического нет. Задачей общества является обеспечение своим членам в случае смерти могилы и креста. Обыкновенное предприятие взаимного страхования на случай смерти. Каждый вносит по два франка в месяц, а при смерти одного из членов — одновременно десять франков. На эту сумму устраиваются похороны, приобретаются гроб и крест на могилу. Вот и весь несложный смысл объединения. Дело идет, состав общества растет, увеличивается и запасный капитал. Нашелся вопрос, на котором люди объединились без лишних споров и недоразумений.

— А еще недавно каких только у нас не было организаций! Устраивались собрания, произносились речи. Один из наших деятелей, уже скончавшийся, из года в год во всех важных случаях произносил одно и то же. Покойный был не оратор и просто выучил наизусть, немного модернизировав, знаменитую аксаковскую речь по поводу Берлинского мира²². На заседаниях он обычно торжественно вставал и начинал:

«Господа! Что мы делаем?.. Мы хороним Россию! Мы свою честь хороним!» и так далее...

Это продолжалось десять лет подряд. Аксаковскую речь у нас теперь все знают.

Последние новости, 29 янв. 1937, № 5789

21. ЛИОН

Сколько раз ни проезжал я Лион, отправляясь на благодатный юг или возвращаясь оттуда, всегда из окна вагона открывалась одна и та же картина. Бледно-зеленая Рона,

громады серых однообразных зданий, трубы фабрик, хмурое стальное небо, полумрак пасмурного утра и мелкий скучный дождик.

На этот раз, кроме обычного дождя, меня здесь ждал все заволакивающий, совершенно лондонский туман, который висел над городом два дня, скрывая очертания предметов и смешивая дома, улицы, сады в одну сырую, бесформенную мглу.

У городов бывает свой стиль и своя душа. Благодаря туману, трудно было приметить стиль Лиона, но души у него нет. Это признают сами французы, почему-то не любящие Лиона и считающие его самым неприветливым и неуютным из всех французских городов.

После Парижа это крупнейший промышленный центр, и, естественно, здесь оказалось довольно много русских. Точных статистических данных нет ни в одной из местных эмигрантских организаций, но все сходится на приблизительной цифре в три, три с половиной тысячи человек. Разумеется, все это тонет в массе населения большого города, и ознакомление с русской лионской жизнью представляет гораздо больше затруднений, чем в маленьких рабочих поселках, где русские сбились в кучу, или даже в Гренобле или Бордо.

В своих скитаниях я давно уже усвоил ничего, конечно, оригинального не представляющий метод обследования не сверху вниз, а как раз наоборот, т.е. не от центров к периферии, а постепенного перехода с самых низов и отдельных положений к учреждениям и более или менее крупным организациям. Опыт показал, что такой способ представляет много преимуществ. Нет такой организации в мире, которая не страдала бы преувеличенным представлением о своей роли и неизбежным «казенным» оптимизмом в этом отношении. Впрочем, по части оптимизма в Лионе дело обстоит вполне единодушно. Когда-то Дон-Аминадо высказал мысль, что, только «сильно задумавшись» над эмигрантским положением, можно додуматься до оптимизма. То ли в Лионе не «задумывались» еще или сильно задумываться перестали, но нигде я не встречал столько уныния и самых грустных рассуждений. Печален русский Лион, печальнее всех других русских углов, несмотря на свои еженедельные вечеринки в ресторане «Лира», где собираются

одни и те же люди, и бесконечные «чашки чаю» всевозможных организаций!

Сколько тут этих организаций? Кто знает! В Париже их гораздо больше двухсот, в Лионе осведомленные лица насчитывают около семидесяти, включая, правда, кружки пяти велосипедистов, шести филателистов и четырех полочких кадет. Так или иначе, но в формально объединяющий русскую колонию эмигрантский комитет, сокращенно называемый РЭКом, входят представители 32 организаций, из которых 17 бывших полковых объединений, по несколько человек в каждом. Те же люди, конечно, входят и в Воинский союз, и в иные группировки, выбирая своих представителей по несколько раз от разных объединений. Большинство же вообще никуда не входит, нигде не состоит или совершенно равнодушно ко всяким выборам и общим собраниям, «действительным при любом числе при бывших членов».

Общеизвестно, насколько несовершенны создававшиеся много лет назад, впопыхах и в расчете на недолгое пребывание за границей, конституции эмигрантских учреждений. Но шли годы, менялись настроения, эмиграция утрясалась, а конституции оказались устойчивее великобританской.

— Я затрудняюсь вам рассказать, — говорит мне десять лет живущий в Лионе рабочий, бывший офицер, — кто и кого представляет в нашем РЭКе и чем он занимается. Кажется, выдает какие-то грошовые пособия нищим. Пособия, разумеется, никого не спасают, а обращаются туда лишь совершенно потерянные люди. Во всяком случае, ни я, ни целый ряд моих друзей и знакомых, такие же рабочие, никакого отношения к этому учреждению не имеют. Теплых слов о нем вы не услышите ни от кого, кроме самих членов правления. Однако ничего дурного никто не скажет о председателе комитета. Человек он порядочный, хороший, но пожилой, больной, и влияния и связей в Лионе не имеет. Что он может сделать, даже если бы хотел?

В дешевом кафе на бесконечно длинной улице Льва Толстого по понедельникам правление комитета принимает своих клиентов. Специального помещения у него нет. По словам деятелей комитета, работа РЭКа сводится к раздаче пособия безработным из отпускаемых парижским распределительным комитетом из нансеновских сборов 750 фр. в

месяц, к хлопотам за выселяемых, выдаче удостоверений и к устройству зимой рождественской елки, а летом «дня культуры». Русских безработных здесь свыше четырехсот. Одни получают шомажное пособие от мэрии в размере от 3 фр. 50 с. в день, другие ничего не получают, третьи впали в полную нищету и существуют чем Бог пошлет, промышляя собиранием тряпок и окурков или сбором подаяний. Оказать даже этим последним существенную помощь из 750 фр. невозможно. Человек получит в понедельник 5-10 фр., а то и меньше, и пропьет их тут же в соседнем бистро на улице Толстого: все равно, мол, на эти деньги неделю не протянешь!

Вопрос помощи русским безработным в Лионе вообще стоит своеобразно. Но эмигрантские организации в этом уже не повинны. В одних частях города им после больших хлопот мэрии выдают по три с половиной франка, в других — 4 фр. 60 с. не считая праздников и воскресений. В праздники и этого не полагается. За «шомажниками» установлен строжайший контроль, и безработный часто вынужден уклоняться от случайно подвернувшейся временной работы из опасения надолго или навсегда лишиться шомажного пособия. Прожить на 4 фр. в день при современных лионских ценах, таких же как в Париже, нельзя. Это дает возможность лишь не умирать от полного истощения. Но немало есть людей и этого не имеющих. Их можно встретить вечером у русского трактира «Лира», в котором собирается по вечерам десяток более счастливых соотечественников; у русских церквей в часы богослужений или рано утром на городском рынке собирающими отбросы непроданных продуктов.

— Подайте, Христа ради, голодному русскому офицеру! — обращается обросший торчащей клочьями бородой, оборванный человек. — Только что приехал из Марселя. Два дня ничего не ел, ночевать негде...

Подающий знает, что ни из какого Марселя он не приехал, и это только формула вошедшего в обиход обращения, что полученный франк проситель немедленно пропьет, ибо никакого другого разумного применения ему все равно найти нельзя, а пропив, будет «стрелять» дальше. Еще недавно этот человек где-то работал, потом, в порядке процентной нормы, был сокращен и, оставшись без работы,

стал быстро опускаться со ступеньки на ступеньку городской жизни, пока не очутился на ее дне. Нужны громадные духовные силы, чтобы в таких условиях не скатиться вниз. Нельзя их требовать от каждого русского. Тут действует закон больших чисел, по которому девять десятых безработных неизбежно должны превратиться в нетрудоспособных нищих, единственным утешением которых является алкоголь. Как это ни грустно, часто спасти их уже нельзя. Большинство — конченные люди.

По иронии судьбы, в лучшем положении оказались безработные не в самом Лионе, а в его коммунистическом предместье Виллербане. До перевыборов местного муниципалитета русские здесь вовсе были лишены шوماжного пособия. На выборах прошли коммунисты. Вскоре все русские безработные получили повестки с приглашением явиться в мэрию.

— Ну, наверное, выселять будут! — решили русские.

Однако дело обернулось иначе. Вышедший к ним новый мэр-коммунист заявил, что он прекрасно знает, что перед ним бывшие белые офицеры. Но это не имеет никакого значения.

— Для нас вы не офицеры и не белые, — говорил мэр, — а лишенные работы русские пролетарии, рабочие, которым мы будем помогать так же, как помогаем французам. С сегодняшнего дня вы будете получать такое же пособие, какое получает француз, т.е. 7 фр. в день без всяких исключений.

— Вот вам и штука! — говорит мне безработный капитан. — Сражались мы когда-то за общее франко-русское дело, как его тогда все понимали, потом против коммунистов. А теперь те, за кого мы дрались и на кого работали здесь десять лет, отказывают нам даже в половинном против французского шوماже, а полностью и без нашей просьбы дают французские коммунисты. Все перевернулось, ничего больше нельзя понять! Там, где искали хоть какой-нибудь ласки и привет, нашли безразличие к нашей судьбе, а те, кого считали врагами, протягивают нам руку помощи и называют товарищами.

— Что там ни говорят наши политики, — продолжает другой бывший офицер, — а те, кто испытал на своей спине, что значит быть рабочим, когда за одну и ту же работу

французу платят одну цену, а русскому другую, да еще попрекают, что болтаемся на чужой шее, все помянут Блюма добрым словом. Только теперь иностранный рабочий на заводе почувствовал себя человеком. Я там не знаю, какую политику ведет синдикат. Меня это не касается: я иностранец. Но я знаю, что он мне дал, и что уволить меня здорово живешь или сократить плату больше нельзя. У нас в мастерской в прошлом году вот такая история была. Работал по ночам у нас на разной черной работе старый генерал. Человеку было уже за 70. Сами понимаете, многое ему было просто не по силам, да платили ему сущие гроши. Заставляли мыть шваброй пол в ателье. Старик его трет, трет, старается, как может. А тридцатилетний шеф ателье, инженер, стоит с папироской в зубах и измывается: то одно не так, то другое. Потом выхватил у него швабру и показывает, как надо тереть пол.

— Да я понимаю, — говорит старик, — как надо, да сил нет!

— Не можете, так и убирайтесь вон, — получает ответ, — у нас не инвалидный дом!

Старик потом говорил мне со слезами: — Я сам знаю, что мастерская не инвалидный дом, да ведь видит он, что я делаю все, что ни прикажут, и стараюсь, как могу. Человек я военный, дисциплинированный. Зачем же издеваться над стариком? Обидно, но ничего не поделаешь: приходится свертывать манатки.

Так и выгнали его, а через несколько дней генерал умер. Осталась вдова-генеральша. Бедствует старуха. Говорит, какие-то родственники немного помогают...

— Много пережито, — говорит рабочий-галлиполиец. — Теперь-то стало на работе легче, а до мая тяжело было, особенно последние три года. На фабрике теперь все уравниены в правах. Одинаковая плата иностранцам и французам и одни и те же требования. А когда вспыхнула забастовка, на одном заводе случилось вот что. Почти всюду русские примкнули к забастовке, а тут администрация им заявила, чтобы они оставались у машин, иначе, чем там ни кончится дело, все русские будут, как иностранцы, немедленно уволены. Наши испугались и поодиночке стали потихоньку являться в мастерские. Приходилось пробираться через пикеты синдиката. Рабочие встречали штрейкбрехе-

ров камнями. Один русский офицер ходил с револьвером и прямо заявлял рабочим:

— Мне выхода нет. Тому, кто помешает пройти на работу, пушу пулю, а последнюю самому себе!

Таким образом, в наиболее важной для производства мастерской работа не прекращалась, а как кончилась забастовка и все требования рабочих были удовлетворены, администрация сама уволила штрейкбрехеров. Мавр сделал, мол, свое дело и может уходить, больше он нам не нужен!.. Теперь все из этой небольшой группы — безработные, и в синдикаты их не принимают. Поняли люди, что на патронов надеяться нельзя, да поздно...

— Ну, таких-то оказалось среди русских мало, — вмешивается первый собеседник. Большинство сразу пошло вместе с рабочими-французами. В этом у нас без сговору обнаружилась полная солидарность. Нет ее только в собственных общественных делах. Все пришло в полный разброд. Никто никому не верит. Часто не могут сговориться, чтобы выбрать своего делегата. На одном заводе предложили русским такого наметить. Те долго спорили и никак не могли сойтись на ком-нибудь. Наконец, представитель французского синдиката вмешался и разрешил вопрос сам:

— Этот будет вашим делегатом! — ткнул он одного из русских пальцем и ушел.

Вот вам и общественность! Так все у нас...

Последние новости, 7 февр. 1937, № 5799

22. ЛИОНЦЫ

В русском характере есть своеобразная черта. С одной стороны, русский человек чрезвычайно быстро схватывает и усваивает особенности среды, в которой развивается, с другой — упорно не поддается полной ассимиляции. За долгие годы заграничной жизни можно подвести тут некоторые итоги. Не только во втором поколении, но и в первом уже образовались типы русских американцев, северных и южных, русских балканцев, онемеченных и офранцузенных русских. Даже в одной стране есть русские парижане, бордосцы, марсельцы и нильванжцы, как в свое время были москвичи и петербуржцы. У всех сохраняется

нечто общероссийское «свое», но много уже и чисто местных наслоений.

Лион в этом отношении оказал особенное влияние. В отличие от других мест, русские здесь как-то особенно хмуры. Поговорив с людьми различных званий и положений, можно характеризовать их настроения одной фразой: все всеми недовольны, и прежде всего собой и своей жизнью.

Общественных организаций, казалось бы, сколько угодно, но нет ни одной, которая бы удовлетворяла и объединяла, а все, что существует, создавалось как бы нарочно для разъединения. В результате в городе с самой многочисленной, после Парижа, русской колонией нет русской школы, всего одна маленькая частная библиотека, но имеется целых четыре русских церкви: одна — западноевропейской юрисдикции, две — карловацкой и четвертая, поддерживаемая католиками, униатская.

В субботу вечером во время всенощной я обошел их. В первой, устроенной в доме какого-то французского буржуазного общества, на стенах которого развешаны портреты почетных членов, упитанных лионцев, и дипломы в золоченых рамах, я насчитал восемь посетителей, во второй — троих, в третьей — богослужение уже кончалось, и молящиеся все разошлись. До четвертой я не добрался, но слышал, что там народу бывает меньше всего. Обыкновенно люди собираются в церкви на торжественные молебны и панихиды, причем случается, что конкурирующие организации служат два молебна: одна — до обедни, другая, чтобы не встречаться с членами первой, — после или в другой церкви, независимо от ее юрисдикции.

Эмигрантская жизнь однообразна: событий почти не бывает. Воинский праздник, какая-нибудь годовщина, казачий праздник, поминки, «день культуры», рождественская елка — вот и все события. Но вокруг них идет борьба и отчаянное сореживание. Елки устраиваются во всех кружках и группах: у соколов, разведчиков, скаутов, казаков, галлиполийцев. Каждая должна затмить другую.

Затмить, конечно, не удастся, ибо всюду одна и та же скудость и несбывшиеся расчеты на высоких покровителей, к которым обращаются за поддержкой. В свое время католическое духовенство и местная аристократия помогали

русским начинаниям пожертвованиями, вещами и скромными подарками детям. Постепенно «рука дающего оскудевала», а русская бедность и просители ей просто надоели.

У нас давно как-то так сложилось, что, несмотря на все рассуждения о свободе слова, можно толковать о чем угодно, кроме самой эмиграции. Малейшая попытка подойти к какому-нибудь из основных вопросов эмигрантской жизни без обязательной в некоторых кругах декламации на тему «об эмигрантской гордости» и «зарубежного отечества» вызывает взрыв негодования, точно действительно вы можете говорить о чем угодно, только не о самих себе. Можно, разумеется, продолжать жить по правилу «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», но долго этим не протянешь. Да мало уже остается и верящих в «возвышающий обман».

Как ни разнообразна по составу, взглядам и настроениям эмиграция, как бы ни устраивались люди, духовно удовлетворенных, кроме совсем немногих, кто продолжает жить так, словно ничего существенного не происходило и произойти не может, нет среди русских.

— Много сил в эмиграции пропадает зря, — говорит мне один внимательный наблюдатель. — Есть среди нас немало духовно и физически крепких еще людей. Но что же делать, когда наше положение такое, словно поставили паровоз на запасной путь, и ходу ему нет. Он и выпускает зря пары. Еще хорошо, если удастся приспособить паровоз к какой-нибудь работе, вроде молотилки, что ли. Все-таки не напрасно пары уходят. А без этого — пар выйдет, машина заржавеет и превращается через несколько лет в железный лом. Грустно это, очень грустно, но надо же признать, что лому накопилось уже немало. Те же, что приспособились к «молотилкам», часто утратили способность передвигаться.

Сама того не замечая, эмиграция прошла уже две стадии. Сначала люди называли себя беженцами. Через несколько лет они превратились в эмигрантов. В последние годы некоторая, весьма значительная, часть на наших глазах нревращается из эмигрантов в иммигрантов. У многих это психологически произошло давно, и сознание лишь не успело или убоялось констатировать переход. Еще не совсем забыты прежние подразделения, не умерла романтика,

еще действуют организации типа «союза бывших членов пограничной стражи», но это уже не то. У бывших членов нет больше души, осталось только тело. В практической действительности гораздо большее значение получили созданные за границей положения. Ничего нельзя поделывать: эмиграция существует не в замкнутом царстве, и жизнь в семнадцатом году не остановилась. Все изменяется и движется. «Все течет», хотим мы этого или не хотим, нравится нам это или не нравится. В усталой, нервной и часто излишне возбужденной эмигрантской среде движение не может проходить гладко. Да и где оно в наши времена протекает гладко?

— Ни у кого, пожалуй, — жалуется мне русский лионец, — нет такой розни, недоверия и раздражения! Вчера вот мы проходили мимо одного городского зала. Там был ежегодный армянский бал. Просто зависть брала! Армянская колония почему-то объединилась. На балу бывают все армяне. Удастся собрать средства для помощи бедным. Эти средства не распыляются по мелочам и бессистемно, а используются по известному плану и соответственно с принятым бюджетом. У русских тоже бывают настоящие объединения. В Дессине, например, это всего в десяти километрах от Лиона. Живет там около полутора десятка русских семей. Есть школа, библиотека. У нас же ничего, кроме танцулек. Кто виноват в этом? Конечно, мы сами. Теперь-то, чтобы объединить нас после пятнадцати лет разъединения, нужны какие-нибудь новые люди, которые взялись бы за это дело. Старым никто не поверит и за ними не пойдет. Вообще главное несчастье наше это отсутствие авторитетов. Старое разваливается, новое не создается, в умах сумятица, в идеях и политике полный разброд. Утрачено не только уважение к чему бы то ни было, но и самоуважение. Уважают, в конце концов, только французского жандарма, который может что-то приказать и что-то запретить, т.е. чужую физическую силу. За последние годы произошло резко чувствующееся расслоение. Когда-то все работали на фабриках. Потом некоторые выбились в специалисты или устроились на службу куда-нибудь в банк или контору. Очень немногие создали небольшие ремесленные и торговые предприятия. Как правило, такие сравнительные удачники выходят из русской жизни. Одни женились на францужен-

ках и просто никого из соотечественников знать не желают, другие медленно, но верно от них отходят, замыкаясь в семейный быт или какой-нибудь маленький кружок ближайших друзей или французских приятелей. Французами они не становятся, но и никакой русской общественности с ними не построишь. Что же остается в качестве ее элементов?

Рядовые рабочие, годами занятые тяжелым физическим трудом, многочисленные безработные на шомаже и без шомажа, полубезработные, кое-как зарабатывающие какие-нибудь гроши, одинокие, иногда опустившиеся люди, которым уже все равно. Вот наш состав. «Элиты», хотя бы такой, как у вас в Париже, где имеются еще русские, ведущие мало-мальски сносное в материальном отношении существование и не поставившие крест на духовной жизни, у нас ведь нет. За исключением нескольких человек, совершенно не интересующихся эмигрантскими делами, у нас все более или менее равны в своей беспомощности и нищете. Прибавьте к этому, может быть, самое главное. В русском Париже еще теплятся какие-то очаги духовной жизни и интересов, читаются доклады, устраиваются лекции. В Лионе ничего подобного. Библиотек нет, книг нет, никто ничего серьезно не читает, кроме газет, единственное развлечение кинематограф и вечеринка в «Лире». Свежих людей тоже не бывает, действуют все одни и те же, давно надоевшие друг другу персонажи. Все раздражены, нервы измотались, люди постарели, жизнь проходит бессмысленно и скучно. Подведите этому итог и последствия станут ясны. Что же остается делать при встрече с новым человеком, кроме ламентаций?..

Куда ни придешь в Лионе, всюду слышишь почти одно и то же. Нет настоящей организации, нет людей, неуверенность за кусок хлеба и тысячи обид со всех сторон. Об этом говорят повсюду, но в Лионе говорят только об этом. Рядовые эмигранты жалуются на РЭК, на РОВС, члены комитетов на конкурентные учреждения или на неблагодарность масс, скауты на разведчиков, сокола на младороссов, комбатанты на галлиполийцев, карловчане на евлогийцев, казаки на самостийников и т.д. Нельзя сказать, что жалобы беспочвенны и только продукт болезненного раздражения. Помимо личных самолюбий и обид, за ними стоит нечто более важное и основное.

Выслушав многих, нельзя не чувствовать трагедии разочарования во всем, во что недавно верили люди, за что страдали и чем оправдывали свое существование. Создавшееся в первые годы эмиграции установленного образца мировоззрение переживает острый надлом. Еще ничто не пришло на смену. Все в брожении, в томительном искании, в тоске по утраченной правде и смысле жизни.

Не может русский человек вполне превратиться в машину для зарабатывания денег. То, что есть, не удовлетворяет, а нового... пока ничего нет.

Последние новости, 14 февр. 1937, № 5805

23. МАРСЕЛЬ

Тип среднего марсельца с его своеобразным французским произношением общеизвестен. Это — веселый, темпераментный южанин, мастер прихвастнуть, приврать, легко воспламеняющийся, но добродушный, который готов вам услужить, в особенности, если это ему ничего не стоит. О нем сложились сотни забавных анекдотов, как и о нашем одессите.

Марселец, прежде всего, влюблен в Марсель. Это лучший город в мире, а знаменитый Канабьер — самая лучшая улица на свете. Она доходит до старого порта, а затем через море тянется до самого Алжира!

— Если бы в Париже был Канабьер, — говорит марселец, — он был бы маленьким Марселем! Париж, разумеется, столица, но что же, каких только в жизни не бывает недоразумений: настоящий мировой центр остается все-таки в Марселе.

Беседуя с французом из Парижа, он может, лукаво сощутив глаза, неожиданно сказать:

— Вы, вероятно, парижанин? Я сразу это заметил. Неважно вы говорите по-французски!

К иностранцам марселец относится равнодушно и склонности к ксенофобии не имеет. Да и как тут разберешь, кто в этом многонациональном приморском городе свой и кто чужой. В порту можно встретить представителей всех наций. По грязным узким улицам, спускающимся к заливу,

где одна за другой тянутся подозрительные лавчонки и притоны, толкуются завернутые в бурнусы арабы, таинственные китайцы, итальянцы, испанцы, греки. Тут чисто вавилонская смесь языков, а французский звучит столь незнакомо, что сразу и не определишь, что это за наречие. Поздно ночью на ступеньках закрытых лавок сутулятся оборванные фигуры. Это — парии Марселя, нередко русские-безработные. Их здесь немало. Точной цифры, разумеется, установить нельзя, так как никакой регистрации не ведется, шوماжные пособия в Марселе, как и вообще на юге, русским не выдают, а сами они представляют такой текущий элемент, что и в самом деле могут быть уже отнесены к «номадам», кочующим в поисках угла и хлеба по всей Ривьере, от Марселя до Ментоны.

Некоторые уже попали в больницы или в сумасшедшие дома, иные погибают просто где придется, как умер недавно в канаве в Арле один русский. Другие ютятся среди развалин, спят в перевернутых заржавленных козлах для асфальта, а днем бродят по порту в надежде на случайный заработок.

В первые годы эмиграции Марсель был одним из главных пунктов, через которые русские попадали в страну из Константинополя и других мест. Их поджидали здесь агенты крупных фабрик, нуждавшихся в рабочей силе, завербовывали и отправляли на металлургические заводы на север и восток. Агенты получали с каждой завербованной головы куртаж, а беженцы — более или менее прочный заработок.

Через Марсель прошли тысячи русских, но многие здесь и осели. В точности число их никому не известно, старожилы полагают, что в городе застряло не больше полутора тысяч русских. Еще недавно их центром был знаменитый в свое время лагерь «Виктор Гюго». Не знаю, почему он был назван этим именем, но название невольно связывалось с одним из романов Виктора Гюго, как наименование набитых человеческими телами русских теплушек с именем Максима Горького. Возвращаясь из Парижа, я застал этот лагерь в полной неприкосновенности.

Рядом с вокзалом на пыльном пустыре теснились старые, на живую нитку сколоченные бараки. Принадлежали они не то военному ведомству, не то Красному Кресту. С появлением в Марселе беженцев бараки были предоставле-

ны для русских и армян. Предполагалось, что беженство — явление временное, как временны сами бараки. Но годы шли, и лагерь постепенно превращался в своеобразный городок. К баракам из всякого старья пристраивались лачужки, вокруг которых появлялись огороды и цветники с подсолнечниками и георгинами. Открывались столовые с дешевыми обедами и русской водкой. В одном из барачных была устроена церковь. В архитектурном отношении все это напоминало строения уходящей в прошлое парижской зоны, а после Парижа — русские поселения в районе Энкарнасьона, с той разницей, что там больше простора, а тут все как-то сбивалось в одну кучу. Изучение городка имело интерес не только с бытовой стороны, но в некотором отношении с социальной. По мере утрясания обитателей, в лагере образовалось подобие «государственной» власти. Сначала, как водится, на основе захватного порядка. Появились какие-то полковники, которые уверенно всем распоряжались, выпускали постановления и устанавливали цены за занимаемые жителями помещения. Французы во внутреннюю жизнь почти не вмешивались, и полковники решали все безапелляционно.

Через некоторое время стало развиваться и крепнуть то, что называется общественным сознанием. Пошли тайные переговоры, образовались оппозиционные группы, велись негодующие разговоры.

— Почему установлена плата, когда французы предоставили бараки бесплатно? Куда идут наши деньги? Кто выбирал полковников? На каком основании они разыгрывают начальство?

В армянском отделении, где страсти разгораются быстрее, в один прекрасный день было поднято «знамя восстания»: вспыхнула революция, охватившая весь лагерь. Полковники были сметены, и введено «народное представительство». Само собой разумеется, все прошло без особых потрясений и революционного кровопролития, но не без некоторой, обеспечившей успех, поддержки французского начальства. Стал налаживаться новый строй.

Однако муниципалитет, давно уже собиравшийся уничтожить лагерь и все откладывавший это, решил действовать энергично. Признано было, что дальнейшее существование в центре города барачных нетерпимо по санитарным сообра-

жениям, а площадь необходимо использовать для другой цели. Население давно ждало ликвидации лагеря, и когда как-то утром появились муниципальные грузовики и пожарные с баграми, русские покорно стали выносить из своих хижин домашний скраб. Через короткое время от русского муравейника осталась груда мусора, досок, кусков толя и другого хлама. Лагерь «Виктор Гюго» окончил свое существование, а беженцам была предоставлена возможность поселиться на новом месте, на берегу моря, в окрестностях Марселя.

С одной стороны, это было хуже, ибо удаляло поселенцев от мест работы, с другой — явно улучшало положение. Русским и армянам была бесплатно отведена довольно обширная площадь с каким-то полуразрушенным строением, рядом с которым разрешалось возводить собственные постройки. При русской способности утрясаться и приспособляться к обстановке, через некоторое время здесь вырос городок «Сент-Анн». В бывшем помещении таможни организовали церковь, в заброшенном строении устроили общежитие, где поселились главным образом армяне, а вокруг очень скоро понастроили кое-как сколоченные домишки, с огородами и цветниками. По воскресеньям тут гудят радиоаппараты, играют граммофоны. Воздух чистый, близко море, солнце светит ярко. Обывателям городка в город ехать не хочется, лучше отдыхать дома. Приходят гости поговорить о скачках, потом о работе. После закуски с рюмкой водки вспомнят старое время, затем потолкуют о том, какие в городе русские собрания. Но куда там тащиться на трамвае, да и чего нового услышишь? Все ведь одно и то же. Ну и сидят до вечера, а скоро и спать пора: завтра рано утром снова на работу...

Русские работают на паровозостроительном заводе, сахарных, маслобойных и т.д. Некоторые устроились в гаражах, в различных мелких мастерских, грузчиками в порту или на малярных предприятиях. На крупных фабриках, где введены уже новые социальные законы, положение рабочих, конечно, гораздо лучше, ставки заработной платы выше и составляют в среднем 700-800 фр. в месяц. В мелких, едва сводящих концы с концами, заработная плата обыкновенно несравненно ниже, а условия труда гораздо хуже. Большинство рабочих записалось в синдикаты, кото-

рые не только оказывают поддержку, но недавно прямо потребовали на одном заводе, чтобы все уволенные русские были приняты обратно. Однако старые политические настроения в русской среде еще живы, и многими синдикальное движение воспринимается как дьявольское наваждение. Из местных общественных организаций еще недавно, так сказать, ведущей был Воинский Союз. За последние годы его влияние совсем упало. Одни ушли к младороссам, другие просто рассыпались. В общественной жизни фактически участвует не больше двухсот человек из всего состава русских. Была попытка объединить колонию, но успеха не имела. Недавно образовалось русское общеэмигрантское беспартийное объединение, но в его состав пока входит всего несколько десятков человек. В общественном отношении немного встряхнул колонию пушкинский юбилей. Недавно образовавшийся драматический кружок, с большой любовью и старанием ставящий «Бориса Годунова», принял в пушкинских торжествах деятельное участие. Кроме инсценировок на собрании произносились речи, а маленькие дети читали пушкинские стихотворения, некоторые уже на французском языке. Вообще денационализация идет здесь быстрыми шагами. Дети учатся во французских школах, средняя рабочая семья в национальном смысле многого дать естественно не может, и новое эмигрантское поколение все дальше отходит от русской жизни. Каким-то исключением является небольшая группа русской молодежи, с которой мне удалось познакомиться поближе. Простые рабочие на заводах, они внимательно читают русские газеты, следят за новинками русской литературы и политической жизни. Но русская библиотека очень бедна и давно уже прекратила выписку книг, общественная жизнь однообразна, работа же на заводе уныла и тяжела. Молодость берет свое; люди не жалуются и не унывают, но сквозь прозаические рассказы о своей судьбе чувствуются затаенные грустные нотки.

— По-моему, — говорит мне молодой собеседник, — чтобы в России ни случилось, вернется не больше десяти процентов. Остальные засели прочно и, в сущности, со своим положением примирились. Некоторые кое-как выбились, живут по городским окраинам своими семьями и внешне и внутренне вдали от русской жизни. Завели курят-

ники, кроликов, огороды, радио. Мужья работают, жены ведут хозяйство, растут русско-французские дети, и жизнь течет. Администрация в последнее время к русским относится гораздо лучше. Эмиграция устала и единственно к чему стремится — это тихо доживать свой век. Пережитые волнения, передраги, бедность, процентные нормы и прочие бедствия так долго держали ее в постоянном напряжении, что ищет она лишь тихой мещанской жизни и покоя. Никуда она больше и ни за кем не пойдет. Некоторые завели французских законных и незаконных жен и как-то сразу попали к ним под башмак. У нас, например, есть один такой, который в день получки просит в кассе удостоверение для жены, сколько он заработал, иначе и показываться домой боится! Бывают невероятные одинокие фантазеры. Работает человек целую неделю, а получив деньги, переодевается в единственный хороший костюм и отправляется в приличный отель ночевать. Обедает в лучшем ресторане, выдает себя за крупного коммерсанта, угощает первых попавшихся марсельцев. В воскресенье продолжается все то же, а в понедельник маскарад окончен, и «коммерсант» снова плетется на завод. Это же не жизнь, а чепуха какая-то! В Марселе немало и довоенных эмигрантов. Эти совсем ассимилировались. Из занимающихся интеллигентным трудом есть несколько врачей, предпринимателей и служащих в конторах. Кое-кто был связан с «Ропитом» и получил при ликвидации Русского общества пароходства и торговли некоторые суммы. Предприимчивые люди мечтают завести какое-нибудь собственное дело или куроводство. Но это редко удается, так как ни у кого обыкновенно денег нет. Вот мой приятель все искал подходящее помещение за городом для небольшой фермы. А пока найдет, купил курицу и посадил ее на яйца. Цыплята вывелись, а фермы до сих пор наш куровод так и не нашел по карману. Живет по-прежнему в одной комнате с целым выводком и наседкой, и те орут благим матом. А в общем везде русская жизнь более или менее одинакова. Так и у нас, в Марселе: есть уже церкви разных направлений, аптечка, библиотечка, несколько ресторанов, все полагающиеся организации или, вернее, их правления, бюро по делам беженцев и, наконец, единственное действительно полезное для защиты русских интересов учреждение, и то не русское, это — «Сервис де-

з-эмигрэ», секретарь которого, мисс Филян, очень часто помогает русским в разных затруднениях.

Последние новости, 10 мар. 1937, № 5829

24. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Нигде после Парижа нет такого разнообразия в составе русской эмиграции, как на Ривьере. Кого тут только нет! Бывшие участники экспедиционного корпуса²³, усмирители непокорной Куртины²⁴, ставшие мирными французскими предпринимателями, с грехом пополам говорящими уже по-русски, гвардейцы, белые офицеры и казаки, бывшие русские чиновники, нотариусы и адвокаты, помещики, фабриканты, промышленники, постаревшие представители старой русской знати. Одни жилали здесь в другие времена в собственных виллах, знали и любили эти края, другие инстинктивно тянулись к солнцу и морю, где, казалось, легче будет отсидеться, третьи просто сюда попали, как волей случая и нашей путанной судьбы попадают люди в разные места земного мира, сами толком не зная, как и почему!

— Ну, а каким образом вы, эстонский гражданин, здесь очутились? — спрашиваю двадцатишестилетнего русского рабочего крупного марсельского завода.

— Какой же я эстонец? — отвечает он. — Это недоразумение: я чистокровный русский. Революция застала меня ребенком в Ревеле. Там жил с отцом и учился в гимназии. Десять лет назад человек пять местных русских скаутов решили пешком обойти Европу. В Эстонии нам нечего было делать. Получили паспорта, визы и двинулись налегке. Обошли всю Германию, побывали в Берлине. По дороге в деревнях продавали открытки со своими фотографиями. Потом пошли дальше на запад. Путешествие тянулось долго: шли исключительно пешком. Наконец, попали в Париж. Кое-кто из группы здесь застрял, остальные потянулись на юг, пока добрались до Марселя. В те времена на местных заводах широко принимали рабочих. Решил наниматься и я. По-французски тогда почти ни слова не понимал. Слышу, что говорят про какое-то марто²⁵ и одобрительно похлопывают по плечу. Ну, значит ладно — принять. Поста-

вили меня молотобойцем. Однако этой работы больше месяца я не выдержал, даже в свои семнадцать лет, и вскоре перешел на другую. А там потянулись годы, смотришь, почти десять лет и отбарабанил. Мне скоро двадцать семь лет стукнет, а чувствую я себя уже старым. Да и силы уже не те — все завод взял. В последнее время стало как будто полегче: ставки заработной платы повысили, сорокачасовую неделю ввели. Два дня в неделю отдыха — великое дело! В субботу как закатаешься по берегу куда-нибудь на мотоциклетке, так до понедельника и забудешь про завод...

Трудно человеку жить без какой-нибудь своей «мотоциклетки», на которой можешь так или иначе унести от прозы жизни, и каких только «мотоциклеток» ни выдумывают люди! Одни увлекаются национальной лотереей и в буквальном смысле существуют от «транша» до «транша», другие скачками, что особенно распространено на юге, третьи еще чем-нибудь. Один казак показывал мне любопытную коллскцию вырезок, составлснную за пятнадцать лет из эмигрантских газет. У него собралась целая груда объемистых тетрадей, в которые старательно вклеены заметки, касающиеся казачьей жизни за границей. Чашки чая, станичные собрания, войсковые праздники, выборы атаманов тут следуют одни за другими в строго хронологическом порядке. Коллекционирование любовно продолжается, и каждое новое собрание каких-нибудь хуторян в Шампань-на-Сене будет здесь тщательно зарегистрировано.

Как-то мне пришлось встретить человека, увлекающегося радиостезией. Мы долго говорили об эмигрантском быте, условиях работы, общественных организациях, и только к концу можно было убедиться, что по-настоящему собеседника интересует лишь загадочный медный шарик аббата Мерма. Говоря о нем, человек преобразился и с увлечением стал демонстрировать приемы определения по письму: пол корреспондента, жив он или умер, способы отыскания в земле металлов и воды, а по географической карте — места нахождения интересующего субъекта. На полке оказалась обширная литература по этому вопросу.

Русский шофер, по образованию филолог и историк литературы, уже много лет живет составлением коллекции старых и выходящих заграницей русских книг, брошюр, листовок и газет. Отказывая себе во всем, он все сбереже-

ния употребляет на покупку интересующих его экземпляров. Их накопилось уже так много, что в комнате они не помещались, и филолог, купив в деревне клочок земли, самостоятельно возвел на нем небольшой домик, в котором разместил свои сокровища. Раз в месяц он туда ездит, привозит новые пополнения коллекций и в одиночестве наслаждается, как скупой рыцарь в подвале.

Иные идут шаблонными путями: собирают марки, увлекаются рыбной ловлей, играют в бридж или втайне пишут стихи и воспоминания.

— Не знаю, нормально это или ненормально, — рассказывает мне интеллигентный рабочий-эмигрант, — но уже много лет по-настоящему я не живу реальной жизнью. То есть, конечно, внешне живу, как все, т.е. зарабатываю, питаюсь, одеваюсь, и даже по праздникам хожу в гости, но внутренне, душевно, все это нисколько не захватывает меня и только скользит в сознании. У меня появилась непродолимая потребность помечтать. Откровенно говоря, к этому у меня в молодости была склонность, и я всегда считал, что Манилов — зря оклеветанный Гоголем персонаж. В сознании у меня образовалось два сюжета. Один приятный, который я развиваю с разными вариантами, когда бываю в хорошем настроении, и другой — мрачный, который овладевает мною, когда бывают какие-либо неприятности и основания для раздражения. Все это не Бог весть как сложно, истории, какие я сочиняю, довольно просты и даже элементарны, но я постоянно их видоизменяю и дополняю. Должен сознаться, что они составляют единственное содержание моей духовной жизни. Без них мне скучно, чем бы я ни занимался, и я обычно с удовольствием жду освобождения от каждодневной работы и всяких отвлекающих занятий, чтобы уйти в сладкий полусон...

Как бы ни устраивалась жизнь в материальном отношении, к какому бы состоянию ни принадлежал изгнанник, за самым малым исключением он продолжает испытывать духовный голод, который заставляет его искать свою «мотоциклетку», чтобы уноситься на ней прочь от реальной жизни. Это проходит в лучшем случае во втором, а то и в третьем поколении иммиграции. Скорее всего спасает от тоски какое-нибудь собственное дело, лучше всего земля и неустанный труд на ней.

В этих благословенных краях, где всегда светит солнце, а в феврале цветут мимозы и персики, многим русским удалось завести свое хозяйство. Обыкновенно, это небольшая, арендованная или приобретенная ферма, с одним-двумя гектарами земли. Основа хозяйства — преимущественно куроводство. Расчет простой: нормально несущая курица, за вычетом расходов на ее содержание, должна принести 7 франков дохода в месяц, следовательно 100 кур — 700 фр.! Однако на деле часто выходит иное. То куры не несутся, то корм вздорожал, стоимость же яиц осталась прежней, появилась эпидемия куриных дифтерита или поноса, то на рынок выброшены дешевые тулузские яйца, вытесняющие местные дорогие. В результате русский куровод едва сводит концы с концами, а бывает и не сводит вовсе. Для всякого дела нужен хотя бы небольшой оборотный капитал, дающий возможность усовершенствования хозяйства. Иногда надо переждать тяжелое время. Для этого тоже нужны деньги. Необходимы и подходящие личные качества: умение разбираться в условиях сбыта, любовь к делу и способность возможно быстрее его усвоить. Нужны, наконец, подходящий состав семьи, чтобы можно было обходиться без наемного труда, и, главное, первоначальный капитал на оборудование и наем или приобретение фермы.

Часто какого-нибудь из этих условий не хватает, и тогда предприятие едва дышит, а ферма перебивается с хлеба на квас, пока вовсе не бросят дела. В районе Тулона и дальше до самой Ниццы немало русских куроводов. Некоторые уже разорились и ликвидировались, другие благополучно существуют. Наиболее прославленным и образцовым из них является «Леггорн бланш» В. Николаева под Тулоном. Тут дело поставлено на широкую ногу и на строго научных основаниях. Все блещет чистотой и порядком: громадные, специально построенные белые курятники, где за стеклом видны сотни белоснежных яиц, усовершенствованные инкубаторы, отделения для выписанных из Англии индейских петухов и опытов скрещивания разных пород и рас. Владелец уже несколько лет подряд получает первые призы на выставках куроводства в Ницце и Тулоне, и предприятие его пользуется заслуженной славой. Недавно после ряда опытов тут удалось вывести совершенно новую породу, оцененную самыми изысканными гастрономами и любите-

лями куриного мяса. Но прежде, чем поставить дело, хозяину пришлось вложить в него много труда и сил. Надо было изучить множество вещей, научиться лечить кур, промывать заболевшим желудок, мазать йодом горло, производить хирургические операции, перебрать разные способы питания и составы корма, наконец, наилучшим образом оборудовать птицеводство с центральным отоплением и особой вентиляцией помещения.

— Преследуемая мною задача, — рассказывает В. Николаев на выставке куроводства в Ницце, где он демонстрирует лучшие образцы своего хозяйства, — сводится к выращиванию самых доходных пород. В выборе производителей я не так гонюсь за количеством яиц, которое несет курица в течение года, как за числом и размером так называемых зимних яиц. Многолетнее скрещивание двух видов белых пород — английской и американской — дало прекрасный результат тяжелой птицы, отличающейся постоянством носки яиц зимой. Для воспроизведения берутся только куры от 2 до 3 лет и совершенно здоровые, а все петухи имеют у нас индивидуальную генеалогию. Вот уже несколько лет, как мы производим систематические анализы крови всех наших птиц по особому методу, практикуемому в одной из лучших ветеринарных лабораторий. Дело теперь стоит прочно. Мы продаем не только яйца и мясную птицу, но также производителей, цыплят и яйца лучших пород для инкубатора.

— С некоторыми деньгами и энергией всегда можно поставить куроводство. Врачи вот только портят нам дело, — жалуется другой русский куровод. — Раньше свежие яйца прописывались при всех болезнях. Теперь пошла мода на диету и овощной бульон. Кто чем ни захворает, сейчас же врач говорит: яйцо это — яд, куриный бульон — яд...

Предприятие В. Николаева очень интересно, но, к сожалению, вовсе не типично для местных русских куроводств. В этом роде, поскромнее, есть еще несколько хозяйств, большинство же представляют собою нечто совсем иное. Тут уж нет и речи ни о каких центральных отоплениях и электрических инкубаторах. Куры сидят за обыкновенной проволочной загородкой, только что выведенные цыплята первоначальную юность проводят где-нибудь в столовой, наполняя писком весь дом, тут же свалены запасы корма в пропахших чем-то кислым мешках, а для согревания по-

мещения в холодные вечера служит переносная керосиновая печка. Раз в неделю владелец сам плетется к автобусу, идущему в ближайший город, с лукошком яиц, которые нужно разнести клиентам. В таком хозяйстве постоянно чего-нибудь не хватает и случаются великие непредвиденные беды. Но ничего не поделаешь: нужны деньги, а денег нет.

Если в крупных центрах, как Лион, Марсель, или в заводских поселках у русских складывается жизнь фабричных рабочих, на таких маленьких фермах получается скромное крестьянское существование, которое, требуя максимума труда, дает минимум результатов, едва обеспечивающих хлеб насущный. В соседнем с Марселем Тулоне русских совсем мало. В самом городе всего несколько семей, отцы которых работают и служат, где кому привелось устроиться. Большая часть местной колонии живет в окрестностях. Среди них есть служащие трамвая, рабочие на верфях. Некоторые соединяют службу с куроводством. Общественные организации те же, что и везде: галлиполийцы, Национальный союз нового поколения, младороссы. Политические различия давно утряслись и существенной роли в настоящее время не играют. Это уже в прошлом. Единственным всех объединяющим русским центром является церковь, которая помещается здесь в здании бывшей тюрьмы. Дальше, за Тулоном, идет Лаванду, рядом с которым в рыбацкой деревушке Ла-Фавьер за годы эмиграции вырос своеобразный русский, неоднократно красочно описанный дачный поселок. Но зимой здесь, как и в соседних Сен-Максими и Ла-Тропезе, пустынно. Они ожидают только летом, когда сюда устремляются из Парижа толпы молодежи в лагеря и целые поезда взрослых, направляющихся на отдых в порядке «конже-пэе»²⁶. Тогда здесь повсюду слышна русская речь, и на пляжах загорают русские тела.

Последние новости, 21 мар. 1937, № 5840

25. КАННЫ

В былые времена Канны были гораздо более русскими, нежели теперь. В развитии этого когда-то скромного рыбацкого поселка в первоклассный мировой курорт русские

соревновались с англичанами. У тех, правда, не было ни Крыма, ни кавказского побережья, и после лондонских туманов эти благословенные края, действительно, могли показаться единственным в своем роде земным раем. Русские же всегда имели пристрастие к французской Ривьере, как и ко всей Франции, и десятилетиями везли сюда свои полноценные рубли, на которые строились великолепные виллы, разбивались парки, процветали рестораны и пансионаты. Крым долго оставался неблагоустроенным и диким, там было скучно, не было всего великолепия Ривьеры и блеска съезжавшихся со всех стран коронованных особ и сливок международной аристократии. Великие князья, сановники, предводители дворянства, помещики, а за ними именитое купечество управляли и распоряжались в столицах и российских губерниях, а отдыхали и наслаждались на Лазурных берегах.

Уже в восьмидесятые годы в Каннах насчитывалось свыше полутора десятков русских, проживавших здесь постоянно или большую часть года. К началу века это число возросло до восьмисот человек. В восточной части города вырос целый русский квартал «Калифорния», где одна за другой располагались окруженные спускающимися террасами садами виллы с русскими названиями. В 1886 году в частной вилле «Александра», принадлежащей постоянно проживающей в Каннах жене местного землевладельца Скрипицыной, была устроена небольшая церковь, куда время от времени приезжал из Ниццы для совершения богослужений русский священник. В 1889 году сюда приехала вел. кн. Анастасия Михайловна со своим шверинским причтом, и Скрипицына предложила русской колонии свою церковь для регулярных богослужений. Помещение, однако, оказалось слишком мало, и духовник княгини прот. Г. Остроумов обратился к проживавшему в Каннах, в построенном им здесь дворце «Казбек», вел. кн. Михаилу Михайловичу с просьбой о содействии сооружению здесь более обширного храма. Под председательством князя был образован строительный комитет, который открыл сбор пожертвований. Через два месяца было собрано 60 тысяч золотых франков, а Скрипицына пожертвовала большой участок земли, уже тогда ценившийся по 50 франков за метр. В 1894 году состоялась закладка церкви, и в том же году она

была готова. Члены русской колонии наперебой жертвовали иконы, облачение, паникадила, утварь и украшения. Присутствовавший на торжественном освящении муниципалитет в полном составе объявил о переименовании бульвара Нотр-Дам де Пэн, где находилась церковь, в бульвар Александра III. Содержание храма возлагалось на попечительный совет, в состав которого вошли великие князья, герцог Мекленбург-Шверинский и проживавшие в Каннах русские богачи. Впрочем, бедных тогда и не было тут. Через год на пожертвования потомственного почетного гражданина Елагина возведена была колокольня с полным набором мелодичных колоколов, а еще через год построен, на пожертвованные А.Г. Елисеевым средства, трехэтажный церковный дом.

Все это существует и до сих пор. Посреди большого сада с аллеей эвкалиптов, в одном из лучших кварталов «Калифорнии» видны купола русской церкви и солидный дом, в котором по-прежнему живут престарелый настоятель о. Г. Остроумов, недавно возведенный в сан епископа, и нынешний священник о. Николай. В подземной крипте церкви — гробницы высокопоставленных эмигрантов: великого князя Николая Николаевича, герцога Ольденбургского, генерала Юденича. Из сада видны силуэты минарета и церковного купола перешедшей в руки каких-то англичан старой виллы «Александра». После смерти Скрипицыной церковь была закрыта, а все оборудование передано в новый храм. В комнате, где была церковь, новые хозяева устроили детскую, но няньки-негритянки жаловались, что по ночам им слышится заунывное пение, и спальню пришлось перенести в другую комнату, а прежнюю превратить в складочное помещение.

Немного дальше расположен великокняжеский дворец, вилла «Казбек». Распродав роскошную обстановку, нынешние владельцы решили продать и самую виллу, из окон которой открывается чудесный вид на каннскую бухту. Но покупателей теперь на такие вещи нет, и вилла временно предоставлена для существующего в Каннах уже много лет русского детского приюта.

Главный подъезд, к которому когда-то на великолепной тройке подъезжал князь Голицын, теперь закрыт, и в виллу можно проникнуть лишь с внутреннего двора. В парадных

залах с сияющими паркетами, зеркальной столовой и прилегающей к ней курительной — торжественная пустота. Жизнь переместилась в верхние этажи, где устроены детские дортуары, классные и комнаты воспитателей и персонала приюта. В большом, с дубовыми стенами и потолком кабинете, сохранившем еще галерею семейных портретов, начиная с Петра III и кончая Николаем I, устроена бельевая. В подвальной этаже, где в былые времена помещалась прислуга, — питательный центр общежития: кухня и столовая. Всюду чистота, порядок, много воздуха и света, но чувствуется, что здесь не живут, а просто приютились, в качестве случайных, временных гостей.

Общежитие состоит в ведении франко-русского комитета и считается благотворительным. Однако, за отсутствием средств, подобного рода эмигрантские учреждения уже давно перешли на начала «хозрасчета», и поэтому, строго говоря, вряд ли могут почитаться благотворительными. Для помещаемых родителями детей установлена плата, правда невысокая, но обязательная и такая, на которую при большом количестве питомцев, особенно при бесплатном помещении, вполне можно было содержать учреждение. Но детей мало, ибо мало родителей, которые еще могут платить по 256 франков за ребенка в месяц. Приют нуждается в поддержке и представляет собою обычное оранжерейное хрупкое предприятие, в котором проживает три десятка детей и несколько взрослых, составляющих административный персонал.

Раньше общежитие помещалось на другой вилле, принадлежащей наследникам кн. Голицына. Детей там тоже было мало, средств не хватало, и для облегчения положения на летние месяцы открывался дешевый пансионат для приезжих. Теперь на вилле «Барон» остался только платный пансион, да устраиваются вечеринки.

Зимой прочно осевших русских в Каннах немного, человек двести. Среди них бывшие владельцы вилл, которые давно уже перешли в другие руки, несколько представителей аристократических фамилий и бывшего промышленного мира. В первые годы эмиграции, когда всем казалось, что все это ненадолго, люди спешили распродать сохранившееся имущество. Нужны были деньги, виллы продавались за бесценок, а вырученное быстро проживалось. Рядом с гро-

мадным отелем на Круазет мне показывают принадлежавшую одной русской семье большую виллу с пальмовым садом, проданную за тридцать тысяч. Теперь усадьба продается за миллион. Впрочем, кто при тогдашней неопытности мог догадаться, что цены здесь так вырастут, а эмиграция затянется на всю жизнь? Еще в 1918 году городской пустырь в конце Круазет продавался за несколько десятков тысяч. Купивший его тогда от нечего делать француз продал через восемь лет три четверти участка компании «Пальм-Бич» за несколько миллионов. Так делаются дела. Но русские во всем этом понимали мало и коммерческих талантов обыкновенно не проявляли.

— Какие там у нашего брата коммерческие способности! — с грустью говорит мне один местный предприниматель. — Пытался я брать к себе в дело соотечественников. Ничего путного не выходило. Если определять эти способности математически, приходится признать, что у русских, особенно у нашей знати, она выражается некоей отрицательной величиной, примерно минус двадцать. Прежде чем научить такого человека коммерции, надо довести его таланты хотя бы до нуля, а потом уже пытаться развивать их дальше. Однако на это столько уйдет времени, что всякое дело успеет лопнуть. Тем не менее несколько скромных русских предприятий все же существует. Известный табачный фабрикант открыл гастрономическую лавку, другой — пансион для богатых иностранцев. Есть тут еще одна столлярная мастерская, малярная антреприза, булочная. Это, кажется, и все. Никакой крупной промышленности здесь не имеется, устроиться на работу иностранцу невероятно трудно, а в последнее время и просто невозможно. Как и чем люди живы, поначалу трудно догадаться. Но, оказывается, один устроился сторожем на стоящую в порту увеселительную яхту богатого американца, другой состоит матросом, третий — механиком на такой же яхте, четвертый промышляет тем, что купив старое моторное судно, самостоятельно отремонтировав его, возит на нем желающих прокатиться и ждет хорошего покупателя. Женщины устраиваются сиделками к старым англичанкам, компаньонками, сестрами милосердия, мужчины — сторожами, садовниками. Несколько человек работают в автобусной компании. Случайно встреченный мною офицер долго

работал в рыболовном деле, затем был уволен, как иностранец, и стал переплетать книги. Говорит, что с грехом пополам удастся зарабатывать четыреста франков в месяц. Как на такие деньги можно жить, да еще с семьей, к сожалению, очень хорошо понятно!..

— Бедности много, — говорит мне о. Николай, — но крайней нищеты в Каннах меньше, ее больше в Ницце. Все не устроившиеся туда стремятся, вероятно, легче получить работу — город больше. А у нас сидит тот, кто так или иначе утрясся. Однако мимо проходит много всякого люда. За эти годы пришлось насмотреться, к нам постоянно заходят с просьбой то накормить, то одеть, то пустить переночевать. Чем можем, помогаем. Немало развелось просто стрелков и совсем опустившихся людей.

— Такие-то и раньше случались, — замечает много видевший на своем веку престарелый епископ. — Я здесь живу с 1889 года. Кого только не привелось видеть. Стрелки всегда бывали. Только прежде норовили, сорвав сотню-две франков, под каким-нибудь предлогом спустить их в Монте-Карло. Сколько раз самому приходилось на таких попадаться. Нынче пошли просто несчастные запутавшиеся люди.

— Как-то, — продолжает о. Николай, — приехал к нам на велосипеде какой-то странный молодой человек, с черной бородой. Говорит, едет из Парижа на Афон и дальше в Иерусалим. Оказался монах, значит, совсем свой брат. Приютили его на день-два, пока хорошенько отдохнул. Стал рассказывать, что был гусаром, не то уланом, потом журналистом, во французских газетах работал, чуть не три раза был женат. Все бросил и решил замаливать грехи. Постригся в монахи и дал обет на велосипеде добраться до Палестины. Отдохнул у нас и дальше пустился в путь. Вот какие бывают люди. Не знаю уж, добрался ли он, куда стремился. Другие же просто бродят: сегодня он в Бокка у казаков, завтра в Каннах, потом зачем-то идет в Марсель или Ниццу. Работы нет, да по-настоящему работать он, наверное, уже и не может, а жить надо. Вот и ходит...

Если в первые годы эмиграции в Каннах еще были состоятельные русские, за десять лет все изменилось и обеднело. По-прежнему почти всегда здесь светит солнце, ласково плещется теплое море, пестрят на городских клумбах в феврале цветы, зеленеют лимонные деревья, стройные

эвкалипты и пальмы. Чудесные отели в Круазет полны приезжих, в солнечные часы на набережной толпа нарядной публики и чинно прогуливающих собачек старых англичанок. По вечерам весь город вспыхивает уходящей вдаль лентой электрических огней. Придумываются всяческие развлечения: сегодня конкурс элегантности, завтра — автомобилей или бой цветов. Надо получше развлечь приезжих, чтобы не уронить репутацию прославленного зимнего курорта. В сияющем огнями «Пальм-Биче», конкурирующем с знаменитым монахским казино, вертится шарик рулетки, с террас кафе звучат оркестры. Но русских в этих местах уже не встретишь. Все это не для них. Нет больше русских вилл и отдыхающих от всяких государственных трудов князей и предводителей дворянства. Осталась одна старая церковь, которая, как одинокий памятник прошлого, стыдливо затаилась в густой листве своего сада. Настоящая русская жизнь переместилась в соседнее Бокка, поближе к вагоноремонтному заводу и муниципальному предприятию по уничтожению мусора.

Последние новости, 29 мар. 1937, № 5848

26. КАНН-ла-БОККА

Когда подъезжаешь на автомобиле к Бокка, маленькому городку на берегу моря в двух километрах от Канн, легкий ветерок порой приносит удушливый запах разложения и гнили. Сначала непонятно, откуда этот запах. В самом городе этого не чувствуется. Ничего особенного не заметно. Весь город — это длинная улица вдоль набережной, пересеченная рядом перпендикулярных. Обычные лавки, кафе, базар, мало зелени и много пыли. Вдали виднеются зеленые холмы, постепенно переходящие в отроги Эстерель, тихий, оживающий только летом Капуль, в котором в чудесной, напоенной ароматом хвои кедровой роще уже много лет подряд устраивается большой лагерь для русской молодежи из Парижа, дальше — живописный Теуль и нарядный Троясь, где природа создала причудливое сочетание невероятно ярких красок: лазури моря, зелени растительности и совершенно красных скал.

В Бокка ничего подобного нет. Это — нищий среди соседней роскоши природы. На самом берегу, у узкой полоски пляжа, расположился большой завод для ремонта вагонов железной дороги «Пари-Лион-Медитерана», против него казармы рабочих и домики персонала. После обеденного перерыва к раскрытым воротам тянутся пешком и на велосипедах группы рабочих в синих блузах, а за высокой оградой уж слышен лязг железа и шум моторов. Немного поодаль, на самом конце городка, высится громадное бетонное сооружение фабричного типа. Отсюда-то, оказывается, и тянет время от времени удушливый запах. Ранним утром в ворота въезжают грузовики, с которых рабочие выгружают кучи мусора. Со специальных бетонированных площадок на движущихся лентах мусор направляется во внутреннее помещение второго этажа. На широкой ленте медленно плывут груды вонючей, успевшей уже полуразложиться на южном солнце дряни: кухонные отбросы овощей, картофельной шелухи, костей, консервных коробок, грязных тряпок, рваной обуви, бумаги, разбитой посуды и всего, чем каждодневно наполняются мусорные ящики человеческого жилья.

По обе стороны ленты стоят шеренги рабочих. Каждый что-то отбирает и сортирует. Одни — бумагу, другой — металлические предметы, третий кожу, резину или стекло. Все это складывается по категориям. Над лентой — клубы пыли, и смрад такой, что заглянув сюда на две минуты, чувствую, что дыхание спирается и кружится голова. Как-то стыдно сразу уйти, ведь люди дышат этим целые дни, месяцы и годы. Впрочем, человек ко всему привыкает. Он не животное, которое в непривычно вредных для него условиях быстро угасает. Царь природы, вероятно, потому и «царь», что научился ко всему приспособляться.

Разобранная масса поступает в особые камеры для ускоренного перегнивания. Камера плотно набивается, поливается сверху стекающей из желобов образовавшейся вонючей жижей, кишашей гнилостными бактериями, и герметически закрывается на тридцать дней, необходимых для процесса полного разложения. За ней наполняется вторая, и так далее. А тем временем наполняются уже исполнившие свое назначение камеры. Открывать их надо со сноровкой, иначе от вырывающихся потоков сероводорода можно

потерять сознание. Тут уж смрад такой, что работать в первой комнате может показаться сущим наслаждением! Между тем, есть специалисты, которые только этим и занимаются. За очистку камеры платят 25 франков. В один день можно бы очистить пять и даже шесть. Но и опытный работник очищает всего две-три, а остальные предлагает ждущим своей очереди безработным. Перед тем, как приступить к делу, человеку дают выпить молока, затем он облачается в найденное обычно тут же в выгребных ящиках тряпье и, стараясь не дышать, осторожно приоткрывает заслон камеры. Через некоторое время морской воздух развеивает первый напор смрада: надо производить самую очистку ямы, откуда выгребают превратившиеся в черный прах перегнившие отбросы. Этот прах представляет для предприятия одну из доходнейших статей. Он просушивается, просеивается в огромных сетях и превращается в мелкий порошок, являющийся прекрасным удобрением.

Но не забыто и остальное. Предприятие построено строго рационально и старается использовать все. Под навесом сложены груды высохших костей, битого стекла, поступающего на стекольные заводы в качестве «утильсырья», целых винных и пивных бутылок, тряпок, бумаги, кожи, флаконов от духов. Отдельно штабелями сложены сияющие на солнце куски жести из спрессованных консервных коробок. Это пойдет на металлургические заводы. Черной грудой высится гора старых автомобильных шин. Все систематизировано, разобрано и ждет дальнейшего использования в хозяйстве. «Ни один атом в природе не пропадает». В разумно поставленном большом деле должно быть так же. Исключением, пожалуй, является лишь человеческий материал. Надо сказать правду, его пропадает повсюду очень много и совершенно зря. Возможно, что уж слишком много его накопилось, и хозяйственного интереса он представляет меньше, чем консервные коробки и клочки старой бумаги. Впрочем, в последнее время и в этой области делаются попытки использовать в той или иной форме пропадающее «утильсырье».

Предприятие в Бокка по эксплуатации городских отбросов представляет собою настоящий русский угол. Знаменитая процентная норма для иностранного труда здесь осуществляется как раз наоборот: русских — около девяно-

ста процентов, французов — десять и то лишь на командных должностях. На эту грязную и нездоровую работу никто, кроме русских, не идет. Они здесь обосновались давно и отлично себя зарекомендовали. Во главе предприятия в качестве директора стоит израненный в боях русский офицер Е.М. Крамаров, всегда поддерживающий своих соотечественников и бывших боевых товарищей. Уже много лет назад он наладил для них кантину²⁷, библиотеку, всячески отстаивает перед высшей администрацией и старается устроить безработных, которые в этих краях, как указывалось уже, никакого пособия не получают. По его инициативе все русские рабочие производят ежемесячное отчисление в 3 фр. на помощь безработным и инвалидам. Кроме того, для всех штатных недавно введен лишний выходной день, когда работу выполняет очередной безработный. В отношении к директору все рабочие, с которыми мне пришлось беседовать, вполне единодушны:

— Хороший человек Крамаров, — говорят они, — дурного о нем никто не скажет. Горячий, правда, нервный, другой раз так наорет. Но случается, и ему ответят тем же. И ничего, зла от него не увидишь, напротив, всегда найдешь поддержку и помощь... Да и предприятие его дает русским хлеб. На ремонтный завод теперь не сунешься. Кто устроился в свое время, тот сидит. Иногда бывают новые приемы, но русским отказывают. Процент, говорят, не подходит. А тут тяжелая, грязная работа, зато прочно и надежно. Заработок всегда обеспечен, а для русских шомеров²⁸ устроенным предлагают даже потесниться на день-два в неделю.

В Бокка, где многие живут уже больше двадцати лет, русских 310 человек, из них казаков 83. Городок маленький, и русская речь в нем слышится на каждом шагу. Русские друг друга знают и живут обычной, провинциальной жизнью со всем пестрым спектром эмигрантских учреждений. В большом наемном зале барачного типа помещается галлиполийское собрание. На стенах обычные портреты, в углу — пианино, в другом — бильярд, в зале столики с вазочками для цветов и стойка для уставленного закусками бара.

Здесь происходят собрания, доклады и вечеринки. Напротив, через улицу, в двух комнатных организациях всей колонией общежитие для безработных с бесплатным

ежедневным супом. На следующей улице большая казарма, где помещается общежитие для холостых рабочих железнодорожных мастерских. Здесь обосновалось несколько десятков русских. Одни, сменившись на заводе, сладко спят на стоящих рядами койках, другие собираются на работу. Раньше тут брали по 30 фр. в месяц, теперь администрация предоставляет казармы для общежития бесплатно. Обставлено все, как обычно обставляются во Франции рабочие казармы: грязновато и сыровато, но есть умывальники и души, русские постояльцы разрисовали стены любительскими картинками.

Дальше, в обширном помещении, русская кантина для рабочих предприятий по уничтожению мусора и основанная десять лет назад библиотека с тысячей томов русских книг. Еще дальше, в первом этаже небольшого частного дома — маленькая церковь. Все убранство и иконы в старом русском стиле исполнены живущим по соседству художником Стеллецким. Раньше в комнате над церковью жил какой-то вечно раздраженный француз, который, лишь только начиналось богослужение и пение, поднимал у себя наверху невообразимый шум. Но француз, кажется, съехал, на его месте поселился русский, и все вошло в норму.

В двух шагах от церкви казачий дом, организованный местной станицей. По части недоразумений и неладов казаки ничем в сущности не отличаются от остальных русских. Однако, это, по-видимому, не мешает им гораздо легче объединяться и организовываться. Во всяком случае, в Бокка они устроились лучше других. Станица сняла большой дом, отремонтировала его, в верхнем этаже, в безукоризненно чистых отдельного типа комнатах поместилось несколько одиноких казаков; внизу устроили столовую, где за три франка дают отличный борщ, мясное блюдо и сколько угодно чаю с хлебом. Весь пансион обходится в 11 фр. в день, а за комнату установлена плата 70 фр. в месяц. В столовой радиоаппарат, на стенах акварели местного художника полковника А.М. Полякова, специализировавшегося на изображении военных эпизодов. По вечерам тут собираются провести вечер окончившие трудовой день люди. Обычные русские, совсем не рабочие, разговоры.

— В Каннах гастролирующая труппа ставит «Травиату». Надо взять дешевые билеты. Канны близко — съездить

туда на велосипеде ничего не стоит. В кинематографе новая картина. Завтра по радио передают интересный концерт. В газетах пишут и т.д.

Материально для тех, кто работает регулярно, жить стало гораздо легче. Хорошие рабочие вагонного завода зарабатывают в пол месяца 700 фр. В очистительном предприятии ставки гораздо ниже: 300-500 фр. Некоторые из русских уже давно стали контрометрами и первоклассными специалистами. Эти чувствуют себя уверенно и приобрели совсем иную осанку, не запуганно эмигрантскую, а твердую и спокойную.

Как водится, все покупают «десятки» национальной лотереи и ждут «траншей». Двоим подвезло. Один выиграл 550 тысяч, быстро собрался и уехал с семьей на Балканы, другой выиграл 10 тысяч, но деньги не пошли впрок. Место человек бросил, чужую жену сманил, а потом, все проиграв на скачках, остался у разбитого корыта.

В таких углах, где русские сбились в кучу и живут уездно-эмигрантским укладом, не только не заметно признаков денационализации, но и на местную жизнь оказывается серьезное русское влияние. Достопримечательностью Бокка является в этом отношении содержательница центрального кафе мадам Маруся. Двенадцать лет тому назад русские застали ее молоденькой девушкой, прислуживавшей в итальянском бистро. Бойкая и хорошенькая, итальянка завоевала общие симпатии и из мадемуазель Мари превратилась в Марусю, очень быстро выучившуюся не только понимать, но и говорить по-русски. Выйдя замуж и сделавшись хозяйкой, Маруся предоставляла русским в своем гостеприимном предприятии широкий кредит, бесплатное помещение для собраний и, случалось, хлопотала по разным делам за своих многочисленных друзей. Во всем этом оказался и коммерческий толк: дело у Маруси идет отлично, а пристройка следует за пристройкой.

— Утрамбовались здесь мы, — говорит мне местный старожил, — привыкли. Тепло, тихо, мирно. Страсти и политические разногласия утихли. Раньше случались кое-какие шероховатости с казаками. Теперь и это прошло. Иногда люди и выбирают из нашего уезда. Вот один пожилой казачий полковник устроился сторожем в каннский католический собор. Взяли за выправку и важную

осанку. По праздникам выступает там в треуголке, чулках и с булавой. Другой поступил шофером в автобусное предприятие. А третий вовсе блестяще устроился: уже пять лет состоит директором приюта для бездомных собак.

Мне удалось повидать это замечательное учреждение, но о нем стоит рассказать особо: уж слишком велика бывает разница между человеческой и собачьей жизнью.

Последние новости, 5 апр. 1937, № 5855

27. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

— *Soyez bon pour les animaux!*²⁹ — гласит надпись на солидных воротах большой, утопающей в зелени усадьбы. И выше: «Убежище для собак леди Юль». Это та самая богатая леди, на яхте которой английский король Эдуард VIII совершал минувшим летом свою первую и последнюю увеселительную поездку в обществе миссис Симпсон.

Муж леди когда-то удачно торговал веревками, составив громадное состояние, стал лордом. У леди Юль в Англии свой замок, на французской Ривьере вилла, великолепная яхта для кругосветных путешествий, крутой характер и нежное сердце. Леди не любит людей, предпочитает животных, и в особенности собак. Люди злы и неблагодарны. Собаки же вызывают в ней приливы нежности и ласки. Франция — не старый Константинополь. Здесь все имеет своего хозяина и свое узаконенное место. Бездомных собак тут мало, вероятно, меньше, чем людей. Однако, случаются и бродячие псы, которых по утрам муниципальные собаководы вылавливают на улицах и увозят в специальное заведение. Потом их держат некоторое время, пока не объявится владелец. Оставшихся продают, непроданных травят и шкуры пускают на кожевенные заводы.

Печальная судьба бедных животных заставила богатую леди обратить на них внимание. В окрестностях Канн она учредила приют для бездомных псов, а также для тех, кого владельцы пожелали бы, на случай отъезда, временно поместить на пансион.

От ворот идет широкая аллея с аккуратно подстриженной живой изгородью. Направо — уютный домик директо-

ра приюта, налево — большой, в английском вкусе, цветник с газоном, клумбами и большой мраморной вазой. Дальше — фонтан, цветущие мимозы и снова цветы. На дворе кухня с целым ассортиментом разнообразной посуды, кладовые для запасов продовольствия. На плите, в ярко начищенном медном котле варится для пансионеров суп. Повар в белом фартуке prepares алюминиевые миски, которые в обед другой служащий развезет в особой тележке по всем отделениям убежища. В особом помещении собственная электрическая станция, освещающая усадьбу. Мало ли что может произойти? Может вспыхнуть забастовка, по какой-нибудь причине прекратиться электрический ток. Учреждение должно всегда иметь свой свет и ни от каких случайностей не зависеть. Рядом с кладовыми помещается амбулатория со шкафами необходимых медикаментов и хирургических инструментов. За нею хозяйственные постройки: курятники, голубятни и клетки для кроликов. Все это введено новой дирекцией для улучшения хозяйства. Вопросы продовольствия очень волнуют леди, считающую, что собакам прежде всего необходима мясная пища.

В прошлом году, когда на юге происходила забастовка мясников и мяса никак нельзя было достать, леди, узнав об этом из газет, слала тревожные телеграммы, требуя успокоительных сообщений. Благодаря заведенному хозяйству, дирекции все удалось наладить: в усадьбе было достаточно кроликов и кур, чтобы обеспечить пансионерам ежедневный мясной стол. Об этом немедленно были посланы телеграммы в Лондон, а хозяйка осталась очень довольна.

За кладовыми, электростанцией и надворными постройками идет прекрасный огород и сад с фруктовыми деревьями, а с другой стороны за проволоочной стеной поросшие газоном площадки и помещения для собак.

Каждому пансионеру предоставлена чистая бетонированная комната. На полу свежая солома. У двери прикреплены маты, на случай дурной погоды. На каждой площадке посажено несколько деревьев, чтобы в жаркие летние дни собаки могли полежать в тени. На некоторых для этого сооружены специальные изящные навесы. Вообще все сделано с большим вкусом, невероятно чисто и кокетливо нарядно.

Тут же, посреди усадьбы — особый садик и большая клетка в виде проволочного павильона для злющей обезьяны — любимицы леди Юль. Собачье население разделено по полу и размеру. В одном отделении большие, неопределенных пород барбосы, в других — средние, в третьих — маленькие. Все это бегают, резвятся, лает и наслаждается жизнью, прекрасным климатом и ласковым уходом. Для собачьего блага, кажется, предусмотрено все, что только может выдумать воображение, даже посаженное кипарисами кладбище для вечного успокоения. В конце усадьбы поставлен общий памятник мертвым псам с трогательной надписью по-английски и по-французски, а от него идет целый ряд могил с надгробными мраморными плитами, на которых золотыми буквами вырезаны эпитафии с именами всевозможных Лулу и Мими.

— Моей маленькой Бетти, родившейся тогда-то и умершей в ночь на 5-е июня 1934 года, верному другу и единственной любви, — гласит одна надпись.

— Здесь покоится Зизи, моя тихая радость, — пишет неутешная хозяйка другой собаки.

На могилах — маргаритки, некоторые окружены решеткой. Кладбище устроено не только для пансионеров, но и для посторонних. У богатых, проживающих в Каннах и Ницце дам обыкновенно бывают собачки, которых иногда приходится хоронить. Это предоставляется делать на кладбище собачьего приюта за небольшую плату. Но учреждение в плате не заинтересовано. Основа дела — не коммерческая, для этого существовали веревки и люди, которые их производили и покупали, а чисто благотворительная и идейная:

— *Soyez bon pour les animaux!* За пять последних лет через заведение прошло 2900 собак, в год их проходит около пятисот, но в настоящее время пансионеров всего 27. Для такого большого учреждения, конечно, немного, меньше, чем детей в каннском русском приюте. Но что же делать, когда во Франции так мало бездомных псов! Об этом учреждении можно было бы и не говорить — мало ли какие причуды приходят в голову богатым англичанкам, — если бы убежище не оказалось полурусским, и во главе его не был поставлен русский генерал, трудом которого оборудовано все дело. Он уже пять лет заведует убежищем и

почитаются блестяще устроенным человеком. В сравнении с очисткой выгребных ям или работой на вагоноремонтном заводе, устройство в самом деле неплохое, и генерал недаром относится к небольшому кругу местной эмигрантской аристократии, не только по званию, но и по новому положению. Генералу удалось устроить нескольких русских для обслуживания приюта, а приходящим безработным выдавать по тарелке остающегося в котле хорошего, наваристого супа. В нынешних условиях это очень важно. Каждому приходится зарабатывать свой суп тяжелым трудом, но часто никакой работы нет или зарабатывать строго запрещено. В борьбе за кусок хлеба с супом приходится изобретать совершенно невероятные вещи.

Между Грассом и Ниццой, среди Приморских Альп застрял маленький городок Сен-Поль. Когда на автомобиле подъезжаешь сюда по поднимающемуся вверх шоссе, неожиданно открывается на повороте чудесный вид. Высокая гора, на ней сохранившийся почти в неприкосновенности средневековый город, точно выросшая перед глазами оперная декорация. Кругом идет крепостная стена, а за ней теснятся амфитеатром одна к другой суровые постройки из серого камня. У городских ворот выглядывает жерло замурованной в стену чугунной пушки, а над входом в ущелье даже старый подвесной котел, из которого когда-то поливали непрошенных гостей кипящим маслом. Мошечные грубым камнем узенькие улочки ведут на небольшую площадь с ветхим фонтаном и дальше — к древнему храму, где любезный патер показывает приезжим исторические достопримечательности. На улицах, даже в хороший день, вечный сумрак: солнечные лучи сюда не могут заглянуть. Иные улицы так узки, что по ним можно идти только гуськом. В домах — пустынно. Жителей осталось всего несколько сотен. Городское управление запрещает производить какие-либо новые постройки и даже ремонт старых. Разрушающиеся дома, стены, мостовые стараются восстановить из того же материала, не прибегая к современным средствам. Сен-Поль известен опытным туристам, всюду проникающим странствующим американцам и англичанам. Кое-кто из иностранных чудаков здесь даже поселился, приспособив средневековый дом к современным потребностям и обставив его соответствующей мебелью. В городе

всего три-четыре лавки, сапожник и парикмахер. Внешний вид этих предприятий также строго выдержан в стиле средневековья. Вся обстановка городка столь необычна, что случайно попавшему в его древние закоулки так и кажется, будто вот-вот выйдет из-за угла закованный в латы рыцарь.

Но никаких рыцарей нет больше. По мрачным улочкам бродят заезжие иностранцы, автомобили которых загородили всю площадь у городских ворот, а из-за угла неожиданно появляется русский казак в черкеске с кинжалом и небрежно брошенным на плечи красным башлыком. И тут же не меня, а я недоуменно спрашиваю:

— Как вы сюда и зачем попали? Оказывается, русская чета: муж, бывший казачий офицер, и жена, не успевшая закончить в России образование медичка, поселились в Сен-Поле уже с год и представляют один из местных аттракционов. На узкой, посыпанной с разрешения благоволящего к русским мэра песком дорожке, с одной стороны которой — стена, а с другой пропасть, супруги, один искуснее другого, показывают чудеса казацкой джигитовки. Оба в черкесках и папахах, они вдвоем и по одиночке проносятся вихрем на великолепных арабских лошадях, а потом проделывают самые головоломные цирковые номера, мчатся стоя, соскальзывают под брюхо коня и вновь появляются в седле в какой-нибудь эффектной позе, то на боку, то на руках, то на голове. Работа — артистическая и вполне достойна любого первоклассного цирка. Раньше супруги и выступали на цирковой арене. Начали в Германии, потом перекочевали в Бельгию. Затем перебрались во Францию. Группы составлялись и рассыпались. Появлялись подозрительные импрессарио, которые скрывались с кассой. Иногда снова удавалось получить ангажемент в цирке, но, к несчастью, супругам отказали в рабочей карте, и пришлось джигитовать в качестве странствующих уличных артистов. После продолжительных скитаний по Алжиру, Тунису и югу Франции они обосновались в Сен-Поле, где к ним приветливо отнеслись местные власти и обыватели.

На одной из боковых улиц, в древнем полуразвалившемся доме — средневековое жилище русских. Внизу — конюшня, в которой жуют сено Казбек с Абреком — прекрасные арабские скакуны, выдрессированные опытной

рукой хозяина. Наверху — комната с кухней. У входа меня приветливо встречает сама наездница-хозяйка, милая русская интеллигентная женщина, волей судьбы вместо медицины занимающаяся джигитовкой.

— В сущности, я и не казачка, — рассказывает она. — Я уроженка тульской губернии, да и муж только приписанный к донскому войску и отбывал воинскую повинность в казачьем полку, а родом из Воронежа. Там и гимназию окончил. Но вот пришлось джигитовать, и джигитуем. За десять лет работы сколько раз приходилось падать и расшибаться. Живого места на теле не осталось. Вот видите, и передних зубов уже нет. Вставлять надо. Во время работы выбила себе сразу четыре зуба.

— Ну, и что же, пришлось прекратить джигитовку?

— Какое там! Упала, чувствую, что зубы выбила. Выплюнула их и продолжала скакать дальше. Что же делать? В нашей работе нельзя теряться. Да то ли пришлось испытать, когда по Африке с мужем бродили! Плохо только, что сердце пошаливать стало. Доктор говорит, что бросить работу надо, да я и сама знаю, медицине ведь обучалась, немного до конца медицинского факультета оставалось. Ничего не поделаешь: надо работать. Теперь медицинские знания мне служат больше для лечения наших лошадей. Отличные лошадки. Ужасно их люблю. Кормилицы наши. Приходится и хозяйством заниматься — сама варю и жарю. Сама всю нашу «спецодежду» и даже обувь шью. Всему научилась. Ну, пожалуйста чайку выпить! Печенье сама пекла...

Сию, пью чай, слушаю фантастические рассказы об африканских приключениях супругов. Потом беседа переходит на более прозаические темы, и как-то не верится, что завтра эта русская медичка с пороком сердца, в черкеске и рейтузах, будет снова показывать над крепостью ахающим англичанкам свои головокружительные номера: поистине: «нужда пляшет, нужда скачет».

Последние новости, 7 апр. 1937, № 5857

28. БЫВАЛЫЕ ЛЮДИ

За годы скитаний у многих русских накопился громадный опыт и знание таких вещей, каких не почерпнуть ни из

каких книг. Приходится ведь внедряться в самую гущу жизни разных стран, входить в общение со всякими людьми и не только наблюдать, но на себе испытывать особенности экономических, правовых и политических условий. Русский наблюдатель к тому же свободен от предвзятости и местных предрассудков, а от природы наделен наблюдательностью и способностью вникать в чужое. Все это помогает в нем разбираться легче, чем в своем. Со «своим» нередко получается иное. Спокойно-трезвому отношению к нему мешают укоренившиеся в сознании предрассудки, идеи, окаменевшие чувства.

Удивительно, до чего все единодушны в анализе явлений внешних и разноречивы в том, что, казалось бы, наиболее им близко, — в оценке чужого и своего! Беседуя с людьми разных культур и положений, слышишь одни и те же суждения о стране или отдельных сферах ее быта, с какими наблюдатели столкнулись. Никаких существенных разногласий, никаких споров: трогательное единомыслие. Стоит же коснуться любой русской темы, как начинается разнотой и полная неразбериха. Случается, один и тот же человек вначале говорит одно, в конце — другое, сам себе противоречит и, кажется, готов с собой поспорить. Чего он хочет, к чему стремится, — никак не понять!..

— Таковы мы от природы, — смеялся один русский наблюдатель. — Недаром поговорка гласит: «чужую беду руками разведу, своей помочь не могу!» А людей и жизнь мы знаем, всякое видали. Бывалые люди.

— За десять лет исколесил я всю Европу, побывал в Африке, многого насмотрелся, — рассказывал в Сен-Поле воронежец-джигит.

— А как же вы начали свою карьеру?

— Сначала работал в Париже на заводе, как все мы, приехавшие сюда с Балкан. В 1925 году организовалась большая группа казаков, которая устраивала джигитовку в Париже, а потом поехала на гастроли в Англию. Я устроился с этой труппой. Когда она распалась, на завод возвращаться не хотелось, да в это время вряд ли и приняли бы. Оставив жену в Париже, я с несколькими приятелями отправился в Германию. Пригласил нас один цирк. Разъезжали по всей стране и снова джигитовали. Затем дело прогорело. Остались без работы. Случайно очутились в малень-

ком городке, где я пристроился у содержателя одного кафе, так, в качестве человека за все. Делал, что придется: столярничал, заведовал свинушником, разводил кур, организовал русский хор, который пел, кто в лес кто по дрова. Знаете, как поется в оперетке: «Водил слонов, смирял двух львов, качал детей, играл чертей и ваксу изобрел...». Немец кормил скверно, а денег не давал. Бросив его и поступив снова в цирк, стал зарабатывать недурно. Выписал жену. Цирк кочевал по разным странам. Попали в Бельгию. Там кончился ангажемент, и пришлось вернуться в Париж. Некоторое время работал во французских цирках, но пошли строгости для иностранцев. Рабочей карты нам с женой, которую я уже научил работать на коне, не выдали. Пришлось от арены отказаться, никуда больше нас не принимали, как иностранцев. Ну, махнули мы на юг. Пробовали здесь как-нибудь обернуться. А отсюда переплыли в Тунис. Там работа пошла отлично. Завели арабских коней и стали кочевать на них с места на место. Обошли все побережье Северной Африки, потом стали проникать в глубь страны, в такие дебри, куда, наверное, не только странствующие артисты, но и вообще европейцы не заглядывают. Попадали к местным князькам и показывали им свое искусство. Арабы были в восторге. Они ведь понятия не имеют о настоящей казачьей джигитовке! Но вкус к этому имеют и очень ценят хорошего настоящего наездника. А тут наездник женщина, да еще русская. Прямо фурор. Вообще к русским там относятся прекрасно. Пожалуй, мы единственные европейцы, которых любят и уважают в этих краях. Про остальных этого никак сказать нельзя. Да, вот, судите сами. Вдвоем с женой, совершенно безоружные — нельзя же считать за оружие наши почти бутафорские кинжалы — в дикой пустыне, карабкаясь по горам, срываясь в непроходимые ущелья, мы обходили селение за селением, и никогда — ни одной обиды. Один какой-то знатный у них князек, узнав, что к нему пожаловали русские казаки, пригласил нас к себе во дворец, оставив отдыхать, распорядившись, чтобы нам дали настоящие европейские кровати, а после нашего представления, для которого была, по его приказу, очищена от камней целая площадь, устроил грандиозный пир. Три дня нас кормил, щедро одарил и отпустил с проводником дальше. Два года работали в Алжире.

Захотелось снова а Европу. Поехал сначала я один, а потом и жена перебралась ко мне с конями. Сошла в Марселе на пристань, а в кармане всего пять франков. При выгрузке с парохода одна из лошадей разнервничалась, да став на дыбы ударила копытами жену по голове. Ну, что же, обмыли лицо, раны прижгли йодом, коней оседлали, да и в путь. С тех пор стали джигитовать в Ривьере, а на лето уходили в горы, по разным городкам. Это — только схема, а начать рассказывать, так на несколько томов хватит!..

Нечасто люди избирают подобные профессии. Обычно они бывают прозаичнее. Но прежде, чем человек устроится, проходит много трудных лет. На одной из лучших улиц Ниццы мне пришлось побывать в нарядном кафе-баре, владельцем которого оказался бывший солдат русского экспедиционного корпуса, застрявший за границей с 1916 года. Чего он только не испытал! Работал на заводе, был батраком, торговал в разнос, имел лавку. Потом поехал в Конго, где занялся производством духов и парфюмерии. Поссорившись на почве конкуренции с властями, перебрался в другое место экваториальной Африки. Чем-то торговал, расторговался и вернулся во Францию. Здесь женился на француженке с приданым, натурализовался, отяжелел, остепенился и стал патроном крупного кафе. Круг завершен: у него уже не говорящие ни слова порусски дети, собственный дом и капитал.

Его приятель пошел иным путем. По окончании принудительных работ, какие были установлены для солдат русского экспедиционного корпуса после усмирения непокорных, он занялся мелочной торговлей в фабричном поселке. Присмотревшись и освоившись, а вместе с тем подкопив немного денег, он стал торговать случайной одеждой. Дело пошло бойко. Через год у него была лавка, потом магазин готового платья. В городке, где с развитием промышленности после войны число рабочих увеличивалось и появлялись русские и поляки, его торговля завоевала постоянную клиентуру. Человек твердо стоит на ногах. В городке французы считают его своим. Однако русский купец упорно натурализоваться не хочет. Женился на русской, купил автомобиль, один месяц в году устраивает себе праздник, путешествуя по Франции, живя барином в хороших пансионах на Ривьере.

— Вот, кажется, и обосновался, и дело верное, и средства есть, — говорит он, — а не чувствуешь себя дома. Все время настроение такое, будто все это временно, а настоящее где-то в другом месте. Как полагаете, можно с полмиллионом в Аргентину переселиться? Скучно что-то...

Так обстоит часто дело с настроением у выбившихся людей. У неустроенных, годами кое-как перебивающихся, конечно, еще хуже.

— Меня работа, как бы она ни была тяжела, не так уж тяготит — рассказывает земледельческий рабочий-интеллигент. — А если тяготит, то со стороны моральной, а не физической, благо сила еще не ушла. Много лет я — «уврие агриколь». От Марсея до Бордо, от Тура до Пиреней, от Гренобля до Ниццы, где год, где два, где месяц или две недели, то у мужика, то у барина, то в одиночку, то в группе, где только я не работал! На одном месте плохо кормят, на другом мало платят, не дают отдельной комнаты — живи в бывшей или настоящей конюшне, рядом с разным свинством, — у одного — собачья конура, а посуду моют под столом собаки и кошки, другой хозяин требует, чтобы работал по воскресеньям до обеда, третий будит даже зимой в 4 часа утра, а ужинать зовет в 9 вечера. Четвертый бешено ревнует к своей бабе без всяких оснований. Ну мало ли еще, что бывает!.. Придя на новое место, обычно безошибочно определяешь: распаковываться полностью, частично или вытаскивать только самое необходимое, т.е. на год, месяц или две недели. Посмотришь на хозяйскую рожу, затем в каком состоянии постройки, машины, телеги, вилы, скотина, земля, — и все ясно. Хороших воспоминаний, откровенно говоря, тут мало. Потом начнет деревенский почтарь таскать «Последние новости». Удивлены:

— Газету получаете? Ежедневно? — Ежедневно.

— А-а... Газета, думают про себя, это только цветочки. Как-то, было это в большом имении под Туром, нанялся я на работу. Повели в предназначенную мне комнату. До меня в ней жил француз-скотник. Он женился, и ему с бабой отвели что-то другое. Трудно и вообразить, в каком состоянии получил я это жилище! Больше года предшественник там мой обитался: ни разу не подмел, ни разу не постелил постели, так на нее в сабо, в навозе до колен, и валился. Целого дня не хватило, чтобы привести все в ма-

ло-мальски сносный вид. Ну, а когда все вымыто, начинается обычно другая история: нужен письменный стол, этажерка, пятое-десятое. Ищешь доски, полки, и после работы снова трудишься, иногда до полуночи. Постепенно все образуется, и после ужина приятно остаться одному, почитать, порисовать, потрынкать на мандолине. Не музыкант, а все-таки звуки! В ту самую минуту, как оканчивается «хозяйская» работа, начинается другое существование. Работа — хлеб насущный — проваливается в тартарары, и открывается жизнь № 2. Этими двумя-тремя часами в сутки и свободным воскресеньем и оправдывается смысл целого дня. Время идет, что-нибудь случается, или просто-напросто тоска начинает так немилосердно щемить сердце, что приходится срываться. Бросаешь свое комнатное строительство, раздаешь из ненужных вещей то, что не под силу забрать, и уходишь, почти всегда в неизвестность. На неделю жизни хватит, а дальше, если не найдешь хоть плохонького местечка, — пронал... Были времсна, когда работа была повсюду, потом становилось все хуже... Зарабатывалось тогда тоже не так плохо, особенно в центре страны или в Провансе. По воскресеньям, бывало, уедешь на целый день в город. Заглянешь в музей, осмотришь витрины магазинов (тоже для нашего брата вроде музея), купишь книгу, пообедаешь в приличном ресторане, поголкаешься на какой-нибудь выставке. Истратишь на все это франков 50, а удовольствия на 1000: забыл плуги, быков, лошадей, невылазную деревенскую грязь, национальный французский «суп» и жратву с каскетками на грязных головах. Сходиться не с кем. С французами мы далеки и непохожи. Да они и сами сходятся только, как любовники и пока любовники. Среди остальных: поляков, итальянцев, испанцев, и даже русских, как-то не приходилось встречать таких, чтобы хоть что-нибудь сблизало. Полна бутылка — сошлись, выпита — разошлись.

— Больше года работал в небольшом имении, приобретенном бывшим банкиром, ничего не смыслившим а сельском хозяйстве и менявшим персонал по несколько раз в год. Скандалил с ним по поводу харчей, потом из-за оплаченного отпуска. Осенью снова рискнул и бросил. Снял две комнаты с огородом за 50 фр. в месяц, купил досок, понемногу меблировался. Зима прошла более или менее благопо-

лучно: работал на огородах у соседей, пилил дрова, а затем, в нарушение законов об иностранцах, устроился на камнедробилке. До Нового года получал 20 франков за десятичасовой рабочий день, теперь — 23. Блюмовские реформы до нашей глуши не докатились. Работаю много, а придя домой, сам обед готовлю, сам белье мою, глажу, зашиваю, читаю вашу газету. По воскресеньям утром покупаю «Иллюстрасьон», а вечером отправляюсь в кинематограф. Вот и вся моя жизнь эмигранта-одиночки. Временами бывает земная тоска, но вот уже сколько лет креплюсь, не спился... Единственное достижение: французскую деревню и крестьянство изучил вдоль и поперек.

Последние новости, 14 апр. 1937, № 5864

29. НИЦЦА

Нельзя правильно понять сложившуюся жизнь вне ее условий и основного, так сказать, фона. По своей численности русская колония в Ницце одна из крупных, а по характеру одна из наиболее своеобразных. Последнее объясняется не только особенностями ее состава, но и внешней обстановкой, общим фоном.

Нет одной Ниццы. Есть две Ниццы. Одна — древний, полуитальянский город с грязными, узенькими улицами, где красуются гирлянды просушивающегося белья, споласкиваемого тут же в уличных канавах, сочно перебранивающимися между собою экспансивными хозяйками. Другой — роскошный город-курорт, растянувшийся вдоль побережья и давно уже задавивший своим великолепием старые итальянские трущобы.

Общего у них ничего нет, только море и солнце. Все остальное — взрость. Это — искусственный симбиоз труда, который поставляет старый город, и капитала, представленного в новом. Бок о бок, отделенные условной чертой, живут уэллсовские элои и морлоки³⁰. Одни всю жизнь копошатся в грязи, другие наслаждаются теплом и светом. В поисках работы, в обслуживании многообразных городских потребностей старая Ницца проникает в новую, а эта лишь изредка заглядывает в сумерки извилистых переулков для

ознакомления с архитектурной стариной и местным колоритом.

Нигде, быть может, социальные контрасты не соприкасаются так близко. Сейчас же за цветочным рынком, недалеко от площади Массена, с которой комфортабельные автокары развозят пассажиров в Монте-Карло, Болье, Кап-Сен-Мартен, Ментону, открывается другой мир. Вместо магазинов — лавочки, вместо ресторанов — подозрительные трактиры, откуда несется рев радиоаппаратов и автоматических шарманок. Пахнет рыбой, кислым бельем, прованским маслом. На стенах обрывки коммунистических афиш. В раскрытых пастях окон чернеет убогий уют жилищ. На перекрестке — ночлежный дом армии спасения. Бездомные русские его избегают. Спасаящая навеки администрация строга и не выносит запаха алкоголя, без которого так трудно бывает обходиться им.

В порту, в поднимающихся в гору переулках, по которым можно продвигаться только пешком, мелькают темные фигуры в каскетках, слышна итальянская речь и характерный местный жаргон. Ветхие дома с разноцветным тряпьем и облупившейся штукатуркой тесно примыкают один к другому. Здесь живут потомки древней Ниццы. А рядом — другая Ницца, сияющая, вычурно-нарядная, в цветах зелени, днем залитая солнечными лучами, а ночью потоками электрического света.

Тут все создано для удобства и развлечения, чтобы ласкать и веселить взор. Людская изобретательность стремится дополнить дары природы и удовлетворить самый прихотливый вкус. По блистательной, единственной в мире набережной, начало которой положила сто с лишним лет назад английская колония Ниццы, создавшая за свой счет Променад де-з-Англе, тянутся дворцы-отели и дворцы-виллы. На главной городской магистрали, улице Победы, широких бульварах и авеню — прославленные рестораны, грандиозные здания банков, магазинов с витринами сверкающих бриллиантов, изысканных нарядов, духов и разных мелочей. Дальше — казино с пятичасовым чаем и пышными залами для карточной игры, театры, кинематограф и бары. Все проникнуто одной мыслью — побольше удовольствий для пресыщенного «господина из Сан-Франциско».

Несмотря на кризисы и потрясения, на свете еще много господ из Сан-Франциско, имеющих возможность проводить зиму на Ривьере и других местах. Иные, уйдя от дел, совсем здесь, на склоне лет, обосновались, превратив Ниццу в мировой центр стариков. В дни, когда в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Амстердаме холодно и сыро, здесь тепло, уютно, плещет море, а воздух напоен ароматом зацветающей мимозы. На франки, после фунтов, долларов, флоринов — жизнь недорого, и за крупными господами сюда же тянутся люди помельче: рантье, чиновники в отставке, уставшие от бурь, но кое-что сохранившие от сорвавшихся в хаосе кризиса комбинаций, бывшие банкиры, наконец, дамы и самостоятельные вдовы.

Когда в полдень проходишь по Променад, бросается в глаза, что средний возраст прогуливающейся нарядной толпы не ниже шестидесяти лет. То же в театрах, в кафе, казино, на бульварах. Молодежи почти не видно. Она появится летом. Лишь только южное солнце начнет серьезно припекать, старики куда-то исчезают или перебираются в горы, а Променад сразу молодеет. Зимний сезон — это пора для стариков, и живут они в этих краях долго. Сплошь и рядом слышишь о возрасте восемьдесят, восемьдесят пять лет. Даже среди русских таких немало. Недавно на 103 году умер, вероятно, самый старый эмигрант, генерал Гакман. В русской церкви большинство молящихся — люди за шестьдесят-семьдесят лет. В числе посетителей здесь многие помнят скончавшуюся в 1922 году старушку, перед которой все расступались в церкви, княгиню Юрьевскую, вдову императора Александра II. За несколько лет до Юрьевской скончалась другая изредка посещавшая богослужения старушка, Башкирцева, мать прославленной Марии. В общежитии Красного Креста на горке Сен-Лоран среди пансионеров есть даже за восемьдесят лет и одна тихо угасающая, в полном сознании девяностолетняя. Русские старики жилали в Ницце в других условиях. Забыть им об этом трудно.

История русской колонии начинается с середины прошлого века, когда в 1856 году императрица Александра Федоровна, жена Николая I, впервые проводила в Ницце, с большим придворным штатом, зиму. Через год здесь было уже свыше полутора ста русских семейств, а дальше число

их все возрастало. Одни приезжали и уезжали, другие оставались навсегда. Проводить зиму в Ницце считалось хорошим тоном, а ее сезоны признавали верхом элегантности и вкуса. О целебных свойствах климата твердили все врачи, и репутация Ниццы стояла в России высоко. Кто только не бывал в ней. Здесь жил Герцен, жилал А. Толстой, а Тютчев писал совсем современные строки:

— О, этот Юг! о, эта Ницца!.. / О, как их блеск меня тревожит! / Жизнь, как подстреленная птица, / Под няться хочет — и не может... / Висят поломанные крылья, / И вся она, прижавшись к праху, / Дрожит от боли и бессилья...

Здесь долго хворал и умер сын Александра II, наследник Николай Александрович. Его вилла была переделана в сохранившуюся до сих пор часовню, а прилегающий бульвар назван именем Цесаревича.

О роскоши русской жизни и причудах богачей сохранились целые легенды, и с удовольствием рассказывается о князе, пожелавшем прокатиться по Променад в русских санях. В один прекрасный день полоска набережной была усыпана солью, а по ней, пуская «соль в глаза» прохожим, промчался на лихой тройке, с ямщиком в тулупе, важный русский барин. Ницца была потрясена. В магазинах появились коробки с тройкой, пресс-папье в виде саней, брошки с тремя лошадиными головами.

В изгнании русским не до сумасбродств, но некоторая потребность в этом, чтобы «пустить соль», долго оставалась. Лет десять назад многие жили в Ницце неплохо. У кого сохранились средства, у кого виллы, у кого хорошо пошли рестораны и пансионы. Некоторые служили в банках или устраивались на службу к богатым иностранцам. Тогда деньги не жалели: ездили попытать счастья в Монте-Карло, основной клиентурой в русских ресторанах бывали сами русские. Отлично зарабатывавший поваром в одном из фешенебельных пансионов русский адвокат в день своих именин выходил в белом халате и колпаке в общий зал и заявлял:

— Господа, сегодня мои именины. Хочу отпраздновать на славу. Всех угощаю шампанским и пью за ваше здоровье!

Гости удивлялись, но тост принимали, шампанское пили, а затем требовали уже на свой счет еще и еще. Пир шел

горой, а виновник торжества, преемник катающегося по ниццской набережной на санках князя, оказывался героем дня и центром общего внимания. Но это тоже в прошлом. Пансион давно закрылся, а безработный, больной повар без копейки лежит на койке бесплатной городской больницы.

Осколками прошлого величия являются две русских церкви, старая в самом центре, новая на бульваре Цесаревича. Последняя служит одной из архитектурных достопримечательностей Ниццы. Громадный, построенный в стиле знаменитого шедевра русского зодчества на Красной площади храм облицован невыцветающим кирпичом и сохраняет всю пышную пестроту. Собор строился долго и обошелся недешево. Обтесывали камни лучшие итальянские каменщики, разумеется, вне всякой процентной нормы для иностранцев; расписывали стены десятки мастеров; предметы утвари и облачений выписывались из России, кругом, на большой, принадлежащей церкви площади разбит сад, а рядом в паемных помещениях разместился детский сад, четверговая школа и интернат.

Как и в былые времена, в большие праздники у церкви собирается почти вся русская Ницца. У ворот несколько собственных автомобилей. Но большинство, конечно, приходит пешком. Многие тут же поблизости живут. На горке, за полотном железной дороги, несколько русских вилл. В другой стороне скромный ресторан «Теремок», а дальше тянется длинная улица Гамбетты, прозванная гамбетовским уездом. За базаром — русская гастрономическая лавка, нервный узел колонии, в котором всех и все знают: где сдается комната, где и что можно купить и продать, еще дальше частная библиотека, писчебумажный магазин и русский адвокат, на визитной карточке которого напечатано по-русски: «присяжный поверенный ниццкого окружного суда такой-то».

Церковный сад — место встреч, обмена мнений, осведомления и соприкосновения всех эмигрантских слоев и толков. Улица Гамбетты — район торговли и демократических развлечений. По вечерам русская речь на каждом шагу, а иногда можно услышать и «Взвейтесь, соколы, орлами». Но «взвиваться» становится труднее: денег нет, постоянной работы нет, прав на работу, бывает, тоже нет, а здоровье и настроение уже не то.

Русских узнаешь в этом квартале не только по разговору, но и без слов: по потрепанному костюму, стоптанным башмакам, полинявшей шляпе, а главное — по нескрываемой печали во всем: в глазах, жестах, походке.

— По моему, мы совершенно разучились веселиться, — жалуется в «гамбетовском уезде» собеседник. — Правда, радоваться, как будто, нечему. Но бывает, знаете, такое состояние, что хочется хоть вид сделать, будто все «савá»! Не выходит. С одной стороны чувствуешь, что сам с собой начинаешь фальшивить, с другой — кажется, что веселиться стало просто даже неприлично. Добрые люди осудят или скажут: вот дурак какой, с чего бы это он разошелся! Я часто с наслаждением вспоминаю прошлые годы — не далекое прошедшее, а просто первые годы заграницей. Тогда как-то легкомысленнее и проще все мы были. Радоваться-то и тогда, конечно, было довольно глупо, но об этом не думалось, и веселость еще не ушла из нашей жизни.

На русских виллах и в сохранившихся еще барских квартирах средоточие салонно-аристократического уклада. Тут живут замкнуто, общаясь с ограниченным кружком глубоко своих по положению и настроениям людей.

Но это особая среда. В ней встречаются уже кое-что понявшие, но больше — ничего не понявших и обходящихся запасом представлений, вывезенных двадцать лет назад из России, и даже тогда в достаточной мере устаревших.

Последние новости, 19 апр. 1937. № 5869

30. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ

Трудно установить точно число русских в Ницце. Менее всего для этого следует полагаться на показания «очевидцев», т.е. старожилов из эмигрантских учреждений. Получится такая неразбериха, что ничего не поймешь. Одни будут утверждать, что русских пять тысяч, другие — десять, третьи авторитетным таким тоном, точно они сами произвели перепись населения, заявляют:

— Русских в Ницце? Тридцать тысяч. Во Франции — шестьсот, а во всем мире — два миллиона.

Откуда эти цифры взялись, неизвестно. Надо думать, списаны какими-нибудь секретарями с потолка и пущены в оборот. За секретарями потянулись ораторы, а за ораторами журналисты. Делалось это, вероятно с одной стороны, из практических соображений, чтобы доказать, как много предстоит работы секретарям, ораторам и журналистам, с другой — из «любви к эмигрантскому отечеству и эмигрантской гордости»: «шапками» мол, закидаем; с третьей — просто по добросовестному заблуждению.

Войдет человек в метро. Вагон полон, все молчат, и только в углу двое громко говорят по-русски. Русское ухо прежде всего улавливает родную речь. На обратном пути та же картина. В результате готово представление: метро переполнено русскими. По улице Гамбетты в Ницце поздно ночью возвращаются домой два подвыпивших приятеля. Для забавы один изображает роту, другой командира. Раздается громкая команда:

— Здорово, ребята! — Здравия желаем, ваше высокородие!

— На первый, второй, рассчитайсь!

— Первый, второй, первый, второй...

— Полоборота направо, ша-гом марш!

Несется звонко отбиваемая по тротуару печать шагов. Эхо разносит ее по всему бульвару: ать, два, ать, два... И потом сразу громогласное: «Так громче, музыка, играй победу...»

У наблюдателя складывается впечатление: Гамбетта переполнена пьяными русскими эмигрантами. На самом деле их было всего двое. Завтра произведут шум они же или двое других. Объезжая русские углы и разыскивая соотечественников, нетрудно впасть в ошибку, будто их видимо-невидимо. За исключением разбросанных одиночек, русские обыкновенно живут среди своих же, ходят в русские рестораны, покупают в русских лавках, заводят знакомства среди русских и ищут себе подобных. Ищут и находят. Отсюда получается естественное недоразумение, подтверждающее якобы установленные цифры: два миллиона во всем мире, и шестьсот тысяч во Франции.

Эти цифры льстили эмигрантскому самолюбию и усиленно внушались даже иностранцам. Как показал опыт, внушение оказалось довольно сильным, но оно принесло

эмиграции только огорчения. Между тем ошибок очень легко было бы избежать в самом начале, когда не имелось опровергших все эти грандиозные числа официальных данных. Даже приблизительно подсчитывая число покинувших Россию в порядке деникинской и врангелевской эвакуаций, прибавляя к нему просочившиеся остатки западной и северной белых армий, дальневосточных беженцев и, наконец, выехавших из России в частном порядке, никак больше полумиллиона получиться не могло, а вероятно, было и того меньше. За двадцать лет немало умерло, переселилось, натурализовалось. Судя по сведениям правительственных учреждений Франции, Германии, балканских стран число русских эмигрантов в настоящее время не превышает во всей Европе 150-200 тысяч. Сюда, разумеется, не входят русские меньшинства в лимитрофных³¹ государствах. Это не эмигранты. Но указанное число неточно, и, во всяком случае, непрерывно падает, ибо смертность в эмиграции крайне высока, а рождаемость в общем ничтожна. Наряду с естественной убылью происходит повсеместная денационализация молодежи, не только фактическая, но и формальная. Словом, если два года назад министерство внутренних дел насчитывало во Франции 72 тысячи русских, теперь это число еще уменьшилось. Теоретические соображения подтверждаются полученными мною справками на местах. Наиболее точны оказываются сведения выдающих карты для иностранцев учреждений. Поэтому выясняя этот вопрос в Ницце и не полагаясь на русских, я обратился в префектуру.

Оказывается, ни о каких десятках тысяч, да и вообще о тысячах не может быть и речи.

— Установить цифру русских точно, — сказал мне чиновник, — невозможно. Два года тому назад мы выдали около полутора тысяч карт. Но ваши соотечественники подобны морским волнам: приливают и отливают. Кроме того, имеется некоторое количество вовсе без документов. Не знаю, сколько их, но думаю — на всем побережье наберется сотни две-три. Полиция относится к ним терпимо. Это не преступники, да и вообще безобидные люди: безработные, пьяницы и бродяги.

Полицейский чиновник эмигрантской жизни не знает и знать не желает. Между тем, обменять вовремя карту труд-

но не одним пьяницам и бродягам. Дело ведь не в обмене, а в уплате 165 франков, да 75 франков нансеновского сбора. Большинство как-то работает, но далеко не все имеют право труда. Рабочей карты без удостоверения в том, что предъявитель имеет определенное место, оплачиваемое соответствующим вознаграждением, не получишь. Люди занимаются чем попало, сегодня одним, завтра другим, а три дня сидят без работы. Некоторые раньше где-то служили, но уволены в порядке сокращения или как иностранцы, другие занимаются мелкой торговлей, каким-нибудь ремеслом в качестве «артизана», третьи комиссионерствуют. В образовавшемся недавно русском рабочем союзе из сорока человек постоянная работа есть только у председателя, а рабочая карта у трех членов! Остальные должны платить за документ по полному тарифу. У кого семья, уплата превращается в трагедию. Включая нансеновский и гербовый сбор, приходится платить 250 франков за одного и почти пятьсот за двоих, а люди давно уже таких денег не держали. Освобождения от сборов добиться невозможно, сокращения — трудно, и хлопоты отнимут столько времени, что последнюю работу потеряешь. Приходится что-то продавать из домашнего скарба или занимать. Но и такие операции становятся мало доступны. В конце концов получается просрочка, за нею растущий с каждым месяцем штраф, и человек волей-неволей становится бездокументным. Ко всем несчастьям бедности, безработицы, болезней и тоски прибавляется нелегальное положение. После первого ареста и тюрьмы страх перед полицейским, правда, проходит. Такова человеческая природа. Оказывается, не так страшен черт.

— Еда у вас, конечно, получше, чем в тюрьме, — говорит заведующему бесплатной русской столовой в подвале старой ниццской церкви один из ее клиентов, — зато там кормят два раза в день и спать можно. А здесь что же? Заморил червяка и отправляйся снова шляться, да ночевать на пляже под открытым небом или в какой дыре... Нет, тюрьма не так уж плоха, не говорите!

Однако огромное большинство бездокументности боится, как огня, и в периоды обмена карт в префектуре выстраиваются длинные хвосты трепещущих людей, принесших последние гроши. Со страху они суются не в те двери

и окошки, не могут толком ничего объяснить. На них кричат, их гонят, потом, смилостивившись, принимают деньги и документы, назначая день новой явки.

В Ницце нет ни фабрик, ни заводов. Все, что есть, связано с той или иной формой обслуживания приезжих богачей. Извозный промысел для иностранцев закрыт. Шофером может быть только уроженец Ниццы. Поэтому наиболее распространенными среди русских профессиями являются те, куда, так или иначе, можно проникнуть. Сюда относятся: сторожа, дворники, садовники богатых вилл, столяры, плотники, маляры, домашняя и отельно-ресторанная прислуга, повара, судомойки, заведующие винными погребами, горничные, лакеи, служащие гаражей, монтеры, посыльные и т.д. Все это оплачивается нынче очень слабо, а для русских вне всяких синдикальных ставок. У одних нет разрешения на работу, другие не подходят по процентной норме, третьим удастся работать только несколько дней в неделю, четвертые мирятся с тем, что находят.

Некоторые занялись каким-нибудь самостоятельным трудом: женщины шьют, вяжут, вышивают белье, делают куклы и модные фетиши; мужчины берут подряды на ремонт квартир, перевозку обстановки или торгуют. Выискиваются невероятные товары, вроде пропитанного неведомым составом кусочка замши для чистки металлических предметов, патентованного средства от поражающих розовые кусты паразитов или новой модели зубных щеток, и начинается хождение по квартирам, от двери к двери. По большей части комиссионеров гонят, изредка пускают и нехотя рассматривают предлагаемые вещи, еще реже покупают. Зарабатывает так человек десять-пятнадцать франков и считает, что день труда и унижения не пропал даром...

Иногда торговля соединяется с кустарным производством. Одна предприимчивая дама умудряется вертеться до сих пор, когда возможности, казалось бы, совсем померкли. Она изобретает то бисерные сумочки особого фасона, то разрисованные акварелью абажуры, то очень хорошо пошедшие в Монте-Карло конусообразные дамские шляпки, напоминающие кики балерин из «Половецких плясок». Один сезон идет одно, другой — иное. Даме приходится все время напрягать фантазию и приспособляться к требованиям рынка, порой предугадывая и даже самой их вызывая.

Раньше очень распространено было швейное мастерство. Чуть не все эмигрантки шили, конкурируя с отделениями парижских модных домов. Местный остроумец даже сложил стишки:

«Дать платьям шик чертовский
Лишь могут Ворт и Пуаре,
Или мадам де Козакова
В своем ривьерском ателье».

В последние годы иностранная клиентура весьма сократилась, а русская обеднела. Заказы стали редки. Приходилось придумывать что-нибудь другое. Совсем плохо стало с пансионами и ресторанами. Когда-то их было очень много. Большинство прогорело и закрылось, а оставшиеся едва сводят концы с концами. Одно время недурно работали комиссионные конторы по найму, продаже и покупке вилл. Теперь и это кончилось. В Ницце, да и повсюду на Ривьере, все продается и сдается. Пустующих помещений сколько угодно, а покупать никто больше не желает. Тогда, мобилизовав остатки средств, люди начали торговать, где придется и чем найдется.

В одной такой лавке я просидел, беседуя с владельцем, подряд два часа. За это время явилось трое покупателей. Дама купила на 80 сантимов конвертов. За ней пришел любитель старых гравюр. Он обстоятельно рылся, долго толковал о книгах по истории Прованса, но то, что оба суетившихся вокруг него владельца магазина могли предложить, у него уже имелось, а то, что его интересовало, как он сам сообщил, даже в парижской Национальной библиотеке не найти. Под конец пришел старый англичанин — коллекционер почтовых марок. Хозяева, сунув ему громадные альбомы, начали пояснять, что цены у них в десять раз ниже, чем во всех каталогах, а выбор — самый большой в Ницце.

Англичанин, не слушая, перелистывая альбомы, смотрел на марки в вытащенную из кармана лупу, считал зазубринки, наконец, минут через двадцать остановился на одной и, ткнув пальцем, медленно растягивая слова спросил: Комбьен са?

— Труа франк. Сэ па шер, сэ па шер! — затарахтели в два голоса продавцы.

— Сэ па шер пур ля тембр, мэ сэ пур му-а ше-р...³² — подумав, заявил филателист.

Потом он еще долго рассматривал другие марки и, выбрав, наконец, одну за 25 сантимов, торжественно сказал, что он ее покупает.

Хозяева сидят в своем, со вкусом, но самыми ничтожными средствами обставленном, магазине с раннего утра до позднего вечера, продадут пять открыток, две пачки конвертов, три карандаша и четыре марки и отправляются по домам. А вдруг завтра заглянет настоящий покупатель? Но завтра происходит то же, что сегодня и что было вчера. Да и как тут расторговаться, когда всего товару в лавке едва ли наберется на тысячу франков, если не считать развешанных по стенам, принятых от местных любителей на комиссию картин, которых уж наверное никто не купит.

— Вот и поторговали, — спуская железную штору, говорит неунывающий хозяин. Дневная выручка 17 франков 85 сантимов. Теперь пойдем обедать в русский ресторан. Владелец — замечательная личность: в разгар гражданской войны курьером от Колчака к Юденичу через всю Россию прошел. В Ницце начал торговать на базаре, а через несколько лет открыл собственную лавку и при ней ресторанчик на четыре столика. Великолпно готовит...

Последние новости, 26 апр. 1937, № 5876

31. В ТЕНИ

Нельзя сказать, чтобы в эмиграции на юге не было хорошо устроенных людей. Такие попадают повсюду. Одни — настойчивостью, талантом или удачей кое-чего и в изгнании добились. Другие вывезли из России более или менее крупные средства и сохранили их. Последних, правда, немного. Тех и других мало знают. Живут они замкнуто, подальше от остальной массы, одни натурализовались, другие остались в эмигрантском положении. Да и как распознать в каком-нибудь отлично говорящем мосье Даниэле, крупном коммерсante, обыкновенного рязанского Даниила, а во владельце лаборатории по производству эфирных масел, мосье Ноэле — русского химика, в порядке мимикрии переделавшего однозначную русскую фамилию на французский лад?

Пятнадцать лет назад казанский химик, тогда еще молодой человек, сразу направился в Грасс, славящийся производством эссенций духов. Химику приняли лаборантом на завод. Прослужив несколько лет и скопив нужную сумму, он открыл собственную лабораторию и начал производить в ней эксперименты. Опыты дали отличные результаты, и скоро удалось добывать масла из таких веществ, которых раньше не эксплуатировали. Появились свои секреты. Маленькое по началу дело оказалось весьма доходным, а русский химик почувствовал под ногами твердую почву. Положение завоевано, все обстоит благополучно, но для полного довольства чего-то не хватает.

— Скучно у вас в Грассе?

— Нет, ничего, привык. Целые дни занят в лаборатории, переговорами и перепиской с клиентами. Все делаю сам и стараюсь обходиться минимальным составом служащих. Вечерами, если свободен, перехожу из кафе в кафе. Изредка езжу проветриться в Канны или Ниццу. День пройдет, а утром снова за работу.

К сравнительно преуспевающим русским предприятиям можно отнести бриджевые салоны в Ницце. Их здесь чуть ли не десяток. Знатные иностранцы предпочитают их уютно-домашнюю обстановку и строгий отбор партнеров большим клубам и залам казино. Спрос родил предложение, а знающие толк в таких вещах светские люди сумели лучше других их удовлетворить.

Спрос в отношении занятий многое определяет. В переполненной богатыми, скучающими людьми Ницце различный бывает спрос, а с ним различные и предложения. Об иных видах можно бы и пожалеть. Всякие бывают требования, и слишком уж велики здесь соблазнительные контрасты убогой нищеты и расточительного богатства.

В былые времена многие из русских выступали в качестве фигурантов на кинематографических съемках. Студиям требовались представительные старики, кавалеристы с гвардейской выправкой, светские дамы. Эмиграция могла это широко представить. Под ослепительными прожекторами-солнцами, от которых слепились глаза, русские статисты не изображали, а по-настоящему жили. Сановники чувствовали себя сановниками, кавалеристы — настоящими гвардейцами, петербургские дамы — светскими льви-

цами. Работа хорошо оплачивалась. Некоторые быстро специализировались на бутафории, гриме или артистических костюмах. Однако все это в прошлом. Швырявшие миллионами кинематографические предприятия разорились, студии закрылись, а в оставшихся стали применять к статистам процентную норму для иностранцев.

Появились более странные профессии. Приходит, например, человек в монашеское казино ко времени его открытия и занимает у рулеточного стола удобное место. Ставок он не делает, только записывает выходящие номера. Будто готовится к серьезной игре. Через час-два у стола толпа игроков. Свободных кресел нет. Занявший предлагает за скромное вознаграждение свое. Полученная серебряная монета дает возможность самому попытаться счастья и при выработанной осторожности удвоить скромный заработок. Большого ему на сегодня не нужно.

— Каждый зарабатывает чем может, — рассказывает мне ниццкий старожил. — Есть у нас русский, занимающийся взысканием безнадежных долгов. Оказывается, для этого не надо ни юридического образования, ни красноречия. Дело обстоит просто. Нужен лишь высокий рост, крепкое телосложение и упорство. Получив доверенность на истребование долга в форме обыкновенного письма, доверенный является к должнику и, проникнув в квартиру, без обиняков сообщает о цели своего визита. Тот, разумеется, туда-сюда, денег, мол, нет, и прочее.

— Ничего, мы подождем. В крайнем случае можете внести часть долга,— спокойно говорит специалист, усаживаясь в столовой на диван.

Должник видит: парень здоровый, в шею вытолкать нельзя. А тот сидит себе и сидит. Через некоторое время приходится придумывать, как его выжить. Не бежать же в комиссариат? Способ один: хоть что-нибудь заплатить. Ну и платят. Из полученного кредитору потом честно выдается условленная половина.

На русской вилле сдали за скромную плату комнату показавшемуся очень симпатичным услужливому земляку. Заплатив за первый месяц, дальнейших платежей земляк не производил. Характер у него тоже изменился: стал очень требовательным, порой выпивал, производя шум и беспорядок.

рядок. Прошло несколько тяжелых месяцев. Наконец, хозяйка начала скромно упрашивать жильца съехать.

— Ну, что же, вот и съеду. Заплатите мне только триста франков. Вы люди богатые. В тот же день освобожу комнату, — решительно заявил жилец.

— Долго торговались, потом на двухстах франках все-таки сошлись, — рассказывает хозяйка. — Уехать-то уехал, но все выключатели со стен снял и увез на память. Ни за что не сдам незнакомому русскому комнату. Пусть пустая стоит.

Так рождается недоверие и антагонизм. Одни что-то сохранили и живут по-человечески, другие все потеряли. Вечная проблема бедности и богатства. В результате, в сравнительно маленькой русской колонии Ниццы одни чуждаются других, в чем-то друг друга подозревают и часто люто ненавидят.

— Стоило за них проливать кровь, — жалуется русский тряпичник, бывший участник белой армии. — Забились в свои барские норы, знать никого не желают, гроша с них медного не получишь. Подыхай, как знаешь. А наймут, так норовят во всю поэксплуатировать.

— Охота вам кормить этих мерзавцев, — говорит пожилой граф заведующему бесплатной столовой, собирающему пожертвования на свое учреждения. — Разбойники ведь это. Какое мне до них дело!

В минувшем декабре по Ницце пронеслась тревога. Поползли слухи, что готовится коммунистическое выступление. На виллах появились намеченные углем знаки в виде двух стрел. Город замер. Из дома в дом переходили осведомленные люди и таинственно передавали:

— Слышали? Знаете? Предполагается варфоломеевская ночь. Всех будут резать, как в России. В первую очередь русских домовладельцев. Свои же русские укажут.

Перепугавшись, кое-кто быстро уложился и перебрался за итальянскую границу. Другие, упаковав чемоданы и заготовив паспорта и визы, готовы были бежать туда же. Через несколько дней все умиротворилось. Уехавшие в Сан-Ремо так там и остались.

— С нас довольно, — пишут они в Ниццу. — Старую виллу спешно продаем и покупаем здесь. Рекомендуем и вам сделать то же, иначе будет поздно.

Однако тревога улеглась. На виллах возобновился бридж и воспоминания за чашкой чая о милом прошлом: тот многолетний коллективный полусон, в котором люди продолжают убаюкивать друг друга. Все стало привычным, свой ритуал быта, бесед и даже тем для них. Есть уголки, являющиеся словно продолжением старого Петербурга. Внешне это, конечно, лишь карикатура на петербургский уклад, ибо немногим положение позволяет хоть приблизительно воссоздать облик былой обстановки. Но у пожилых дам тот же покрой платья, форма прически, те же интонации и манеры. За приготовленным самой хозяйкой обедом постаревший гусарский ротмистр авторитетно сообщает:

— А у Кюба эту рыбу готовят несколько иначе. Мы ее там часто едали с покойным князем, сын которого служит в кирасирах.

И дальше идет обстоятельное рассуждение о том, как и что подавали в «Малом Ярославце» или московской «Праге». Неважно, что прошло уже двадцать лет, как не стало знаменитых ресторанов, без которых невозможно представить столичной жизни. Поэтому рыбу у Кюба не подавали, а «подают», а сын покойного князя «служит» в кирасирах. Давно переваливший за сорок, «молодой» князь десять лет работал в гараже и восемь занимается комиссионерством. Но это ведь во сне, это — не настоящее, и князь по-прежнему корнет лейб-гвардии ее величества полка.

На юге есть люди, осевшие здесь в довоенные годы. Для них так же, как и для многих пореволюционных эмигрантов, ощущение русской жизни остановилось с момента отъезда из России или с тех пор, как прекратилось непосредственное общение с нею. Они полны тех настроений, какие владели ими тогда, и так и застыли. В сознании образовался провал. Из России старой, со всем тогдашним кругом мыслей и воззрений, они прямо перешли в другой мир, продолжая существовать в ином аспекте. Не только нынешняя Россия, но для уехавших раньше уже и предреволюционная, пожалуй, более темна и непонятна, чем пресловутая история мидян. Невозможно человеку отрешиться от того, чем когда-то была полна жизнь, и у кого на высоте довольства прервалась ее нить и сладкое течение. Случившееся — лишь глупое недоразумение, дурацкий сон, который вот-вот должен исчезнуть, не оставив никаких следов,

как всякий сон. Тогда снова наступит привычная явь. Все немедленно придет в порядок и станет на свои места.

Приезжавший из Парижа профессор ежегодно читал здесь оптимистические доклады, на которые собиралась почти вся русская Ницца:

— Они ведь там, в Париже, все знают.

— Господа, мы можем быть совершенно спокойны,— говорил профессор. — Имеющиеся у меня данные абсолютно точны. Весною все будем в России.

Но проходили весны, профессор снова появлялся. Оказывалось, что сведения прошлого года были не совсем точны, но теперь они уже несомненны: следующей весной поедem. Затем профессор вовсе прекратил свои наезды.

Ницца осталась без успокоительных лекций. Шли годы, надежды увядали, средства сокращались, росли офранцуживающиеся дети, и на русских виллах на Россию просто махнули рукой.

Не то, чтобы ее разлюбили, а себя перестали считать русскими. Напротив, каждый продолжает любить *свою* Россию, а все прежнее русское превозносить и противопоставлять всякому иному. Но этот патриотизм приобрел характер ретроспективный, литературный и платонический. Интерес в этой среде к России настоящей иссяк. Она больше не реальность, а какой-то религиозный символ, который в практической действительности существенного значения не имеет.

— Нашей России нет больше, есть СССР, — печально качает седой головой бывший помещик и действительный статский советник. — Худо ли, хорошо, а надо доживать век здесь. Что же делать, если народ наш до сих пор не понял, чего он натворил. Поймет когда-нибудь, да нас уже не будет.

— Я выехал из Петербурга в начале 1914 года, только что окончив университет, — рассказывает один ниццкий домовладелец. Со специальной научной экспедицией отправился обследовать заокеанские тропические страны. Объехали всю Южную Америку до Огненной земли, произвели громадную работу, а там грянула война. Большинство участников экспедиции вернулись, а я застрял в Северной Америке. Устроился в Нью-Йорке, обжился, натуризовался. Потом, лет восемь тому назад, захотелось

побывать в России, и как американский гражданин, я свободно туда поехал. В Москве и Петербурге я пробыл три недели, и как-то сразу потерял к ним вкус. Все мне показалось бесконечно чужим, а население таким далеким, словно экзотическое племя «ням-ням». В Америке я тоже не чувствовал себя дома. Поэтому решил обосноваться в Ницце. В конце концов, в таком положении здесь лучше всего: можно жить, как хочешь, — тепло, уютно, тихо.

Однако встречаются на виллах и боевые настроения, и даже связанные с современностью реальные политические программы. Но гораздо реже.

— Что вы там браните гитлеровцев в своей газете? — неодобрительно выговаривает случайный собеседник. — Теперь только на них вся и надежда. Выгонят большевиков, можно будет вернуться на свои места. А если придется что-нибудь отдать за это, так что же? Земли у нас много. Велика Федора, да дура. Поменьше, да зато поумнее будем. Нужна нам эта великодержавность! От нее, да от инородцев и пошли наши несчастья! Живут же другие маленькие страны, слава Богу. Не нам, великодержавным, чета. Московское же государство — не княжество. Монако, — громадная штука. Лишь бы порядок был настоящий, все остальное образуется и само придет!.. Так-то вот, а вы талдычите одно и то же. Национально мыслящий человек, который чему-то научился за эти годы, иначе теперь на вещи смотрит.

— После такой тирады, да и вообще, выслушивая изо дня в день все то, что у нас тут говорится, нетрудно прийти в полное отчаяние! — с жаром говорит мне русский спутник. — Приткнуться некуда, среди гибеллинов чувствуешь себя гвельфом, а среди гвельфов — гибеллином. Вероятно, трагедия человеческая не в том, что разум ограничен, а скорее в том, что глупость бесконечна.

Последние новости, 3 мая 1937, № 5882

32. НА «ВОЛГЕ»

Вдали от моря, на горке, где еще недавно тянулись огороды вперемежку с пустырями, в зелени молодых деревьев, утонула скромная вилла «Волга». В самом начале эмигра-

ции тут купил деревенскую усадьбу с простым домом и переделал его по своему вкусу бывший министр земледелия российского правительства А.Н. Наумов. Знакомые и друзья недоумевали.

— К чему вам это обзаведение, фруктовые деревья, огород? Скоро ведь вернемся в Россию. Охота вам возиться?

— Ну, скоро не скоро, а на четверть века надо располагаться, — отвечал хозяин. — Заваруха пошла надолго. Через 25 лет, кто помоложе, может быть, и вернется, а остальным придется коротать век за границей.

Наумова считали пессимистом, а на его хозяйственные занятия смотрели как на чудачество. Однако прошло почти двадцать лет. Один за другим оптимисты полегли на русском кладбище «Кокад», сад же пессимиста стал давать плоды, и к чаю на вилле «Волга» подаются собственноручно выращенные хозяином лимоны.

Одной из деятельных организаций в Ницце является общество помощи русским учащимся и учашим, председателем которого состоит А.Н. Наумов. Общество давно уже организовало преподавание русского языка и литературы во французских лицеях Ниццы. В прежние годы педагогический труд оплачивался министерством народного просвещения, потом это прекратилось. Некоторое время педагогическую работу поддерживал Каннский благотворительный комитет, но и этот источник закрылся. Остались взносы сочувствующих задачам общества лиц, да доходы от изредка устраиваемых вечеров.

— На долю живых сил эмиграции выпала ответственная задача, — говорит А.Н. Наумов, — приобщить к русской культуре эмигрантское подрастающее поколение. В этом главный смысл и оправдание нашего существования за рубежом. Оторванные от родной земли, дети могут потерять связь с нею. Наша важнейшая задача — воспитать в них чувство этой связи с тем, чтобы они научились чтить ее великое прошлое, гордиться ее историей и верить в ее светлое будущее. Русские уроки существуют уже 12 лет и охватывают восемь французских школ, в которых обучается около сотни русских детей. Работа восьми преподавателей не исчерпывается уроками: они руководят внеклассным чтением, устраивают кружки, спектакли, хлопочут о стипендиях и помощи неимущим детям.

Все это, так сказать, декларативная сторона в высокой степени полезного и нужного в эмиграции дела. О нем заботятся лишь несколько человек при полном равнодушии так называемых живых сил эмиграции. Председатель общества ежегодно шлет воззвания, в которых отмечает тяжелое материальное положение учащихся и учащихся, но взносы поступают слабо. Сами родители перешли на другие рельсы и заставляют детей брать уроки русского языка только потому, что при экзамене на бакалавра им легче будет набрать необходимое количество пунктов. Болтать по-русски дети научились дома, для обихода этого довольно. Держать при этом экзамен по русскому языку гораздо проще, чем по немецкому или английскому. Вопрос чисто практический. Что же касается приобщения к национальной культуре, то это постепенно становится чем-то вроде приобщения к заповедям христианства. Кто против них спорит? Но кто же даже из правоверных последовательно руководствуется ими в практической жизни? Религия — это одно, а действительность — другое.

Молодежь в этом отношении искреннее взрослых. Произведенная местной учительницей среди русских учащихся лицеев анкета вполне это подтверждает. На вопрос, как они себе представляют свою дальнейшую судьбу, все мальчики ответили: хочу устроиться в колониях, хочу быть авиатором или инженером, и ни слова о России. Из опрошенных детей только три девочки написали о своей мечте когда-нибудь вернуться на родину.

Большинство живет реальной ниццкой жизнью, и ее влияние испытывает на себе гораздо глубже, чем эмигрантских учреждений. Многие уже и натурализовались или ждут ответа на возбужденное ходатайство. Без этого нельзя: не проживешь. Но такой шаг на заре жизни естественно предопределяет духовный склад и судьбу молодого человека.

— Один из натурализовавшихся русских юношей, — рассказывали мне в Ницце, — отбывает воинскую повинность в артиллерии. Летом на маневрах его подозвал к себе начальник и сказал:

— Отправляйтесь в качестве переводчика в распоряжение прибывшего к нам советского капитана.

— Разрешите уклониться от этих обязанностей, — попросил юноша.

— А под арест на две недели хотите? — строго заявил начальник. Молодому артиллеристу оставалось повиноваться.

— Господин капитан, являюсь в ваше распоряжение, — рапортовал он через некоторое время советскому офицеру, с простым широким русским лицом.

— Как ваша фамилия, товарищ? — спросил тот.

— Чего изволите, господин капитан? — переспросил французский солдат.

— Как ваша фамилия, мой молодой друг? — переспросил его, слегка смутившись, советский капитан, и больше товарищем не называл. Держался он с ним приветливо, корректно и только раз задал вопрос, почему юноша не хочет ехать в Россию.

На стрельбе русский офицер удивил французов отличным знанием артиллерийского дела и умением руководить огнем. Перед отъездом, не успев проститься с подневольным переводчиком, он оставил ему записку:

— Прощайте, юный друг! Увидимся ли когда-нибудь?

Так странно складывается жизнь русской молодежи за границей. Но небольшая горстка преданных своей идее людей упорно продолжает работу по борьбе с денационализацией.

— В этом единственный смысл нашего существования, — повторяет мне председатель общества помощи учащимся.

— Школа может многое сделать, поэтому, прежде всего, надо поддержать русских учителей. У меня сохранились прекрасные воспоминания о нашей прежней школьной жизни. Учился я в симбирской гимназии, директором которой был Ф.М. Керенский, отец бывшего главы Временного правительства. Отличный был педагог и хороший человек.

— Так вы учились вместе с Лениным?

— Как же, шесть лет подряд переходил с ним из класса в класс. Шесть лет бок о бок прожили, часто на одной парте сидели. Вместе учились, вместе экзамены держали и гимназию окончили: Ульянов с золотой медалью, а я — с серебряной. Когда перед выпуском директор давал в округ характеристики оканчивающих гимназистов, он писал, что из всего восьмого класса толк будет только в первых двух, Владимире Ульянове и Александре Наумове.

— Как сейчас помню, — продолжает А.И. Наумов, — Володю Ульянова. Небольшого роста, коренастый, с не-

правильным веснушчатым лицом, которое украшалось громадным лбом над сидящими под ним маленькими слегка раскосыми глазами. Уже в детстве в нем чувствовалась какая-то глубокая внутренняя сила. Ни с кем близко не сходясь и никогда не участвуя в ученических шалостях, он пользовался всеобщим уважением. Со всеми он был на «вы» и как-то от всех далек. Всегда с какой-нибудь книжкой в руках во время перемен, казалось, он бывал постоянно занят чем-то своим. По нашим гимназическим масштабам он знал все и считался энциклопедистом. Что бы ни спросил учитель в классе, на вопрос: «кто знает?» сейчас же поднималась его маленькая в веснушках рука. К нему обращались решить задачу, помочь в письменной работе или сделать перевод. Ульянов охотно помогал, однако в том, как он это делал, нельзя было не заметить некоторого скрытого неодобрения к живущим чужим умом. Это был очень скрытный, замкнутый мальчик, прекрасно и легко учившийся и много самостоятельно читающий. В старших классах Ульянов избегал тех легких и не всегда пристойных разговоров, какие, случается, между гимназистами ведутся. Услышит, что ему не по душе, и молча отойдет. Он редко вообще смеялся, зато, развеселившись по какому-нибудь поводу, не мог удержаться и своеобразно хохотал, словно глотая смех и стараясь его скрыть в себе. Я не могу сказать, чтобы товарищи его любили, но уважали не только ученики, но и педагоги. Всеми ощущалась его несомненная талантливость и то, что это особенный мальчик, не такой, как все. О политике у нас в те времена гимназисты не говорили, и я не припомню, чтобы Ульянов как-нибудь высказывался о своих взглядах. Вряд ли они тогда уже сложились. Это, вероятно, пришло у него позже, после казни старшего брата. Впрочем, помню один разговор. По истории мы проходили гибель Римской империи. У нас с ним завязалась по этому поводу беседа. Ульянов высоко поднял брови и задумчиво сказал:

— Ну что же, погибла Римская империя, погибнет и Российская...

При выпуске он получил золотую медаль, а я — серебряную. Мне никогда это не казалось ненормальным или случайным. Было совершенно очевидно, что он и на экзаменах должен оказаться первым. Потом он поступил в Ка-

занский университет, я в Московский. Мы расстались и больше никогда не встречались.

— Помню я и его отца, когда он изредка приходил к нам в гимназию, всегда в мундире ведомства народного просвещения и с Владимиром на шее. Из гимназических воспоминаний осталось у меня особенно теплое чувство к нашему директору Керенскому. Он преподавал словесность и делал это не по шаблону, а с увлечением и прекрасным знанием предмета. Рассказывая, он выражался чрезвычайно образно и четко, и того же требовал в ученических ответах. Его влияние на учеников и, вероятно, на Ульянова было в этом отношении огромно и, может быть, именно он и заложил в нем так свойственную ему в дальнейшем что ли ударность в выражении мыслей.

— Да, вот вам и судьба, — заканчивает свои воспоминания А.Н. Наумов. — Теперь мне кажется, будто это было так недавно, а между тем гимназическое пророчество Володи Ульянова давно свершилось, и сам он, маленький симбирский гимназистик, автор всего этого, лежит там, на Красной площади, в своем пышном мавзолее, а мы сидим в Ницце.

Рассказчик умолкает. В кабинете становится совсем тихо.

— Многие ушли уже и здесь, — снова продолжает хозяин. — Вот на этом самом диване еще недавно сидели у меня Сазонов, Трепов, Волжин, да мало ли еще кто. Все уже на «Кокаде» ...Вам, вероятно, интересно побывать там. Это — целый осколок старой России. А из здравствующих могу вас познакомить с правнуком Пушкина. Он тут в окрестностях Ниццы занимается куроводством. Завтра я к нему собираюсь. Если хотите, можем съездить в моем автомобиле вместе.

На другой день направляемся с любезным хозяином виллы «Волга» к расположенному в горах Корросу. Выезжаем из Ниццы, минуем небольшой домик, где жил и умер генерал Юденич, проезжаем вдоль желтеющего своими сплошными отмелями Вара, зигзагами поднимаемся все выше, пока на высоком холме не открывается перед глазами залитый красными лучами заходящего солнца Коррос. Маленький средневековый городок, напоминающий Сен-Поль, так же окружен уже разваливающейся крепостной

стеной, над которой среди старых зданий возвышается башня замка.

Свежо, чудесный горный воздух, а с холма — великолепный вид на цепь снеговых вершин с одной стороны и на убегающую к далекой полоске моря зеленую долину Вара, с другой.

Кругом тишина. Город словно вымер и оставлен на произвол судьбы. Иногда появится на фоне ветхой стены старческая фигура, и снова никого. Дальше идут разбросанные в горах куроводческие фермы. Раньше тут был целый ряд русских хозяйств, теперь осталось мало.

В одной из них приходится как раз в пушкинские дни встретить А.Н. Павлова, сына Ольги Александровны Пушкиной, внучки поэта. У Павловых двое детей. Мальчик окончил первоначальное французское образование и учится в технической школе, дочка служит секретаршей в каком-то учреждении в Северной Америке. Скромное куроводчество состоит из нескольких сотен кур и целого выводка только что вылупившихся цыплят, под аккомпанемент которых в столовой мы беседуем с правнуком поэта. Раз в неделю он с наполненным свежими яйцами лукошком спешит на автокаре в Ниццу. Остальное время, изо дня в день, из года в год, проходит в многочисленных заботах скромного крестьянского хозяйства.

— Ничего, кое-как живем. Куры кормят.хлопот только с ними много, — говорит мне А.Н. Павлов.

Последние новости. 10 мая 1937, № 5889

33. НИЦЦСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Эмигрантские организации играют большую роль лишь в маленьких колониях, где, как в Нильванже, Бокка или Сансе, русские живут, сбившись в кучу, одним бытом и в одинаковых условиях. В крупном центре, как Париж, Лион, Ницца, значение этих учреждений невелико и касается небольших, имеющих к ним отношение групп. Огромное число эмигрантов годами даже не соприкасается с ними и ни малейшего участия в их деятельности не принимает. Благотворительные комитеты, действующие повсюду с

самыми ничтожными и самыми невероятными усилиями собираемыми средствами, за недостатком их, помогают лишь «своим» больным, «своим» инвалидам, «своим» старушкам, «своим» детям. Случись с кем-нибудь не из «своих» беда, обратиться некуда. Надо искать приятелей и добрых знакомых, а в комитетах ответ один:

— Средств нет. Мы помогаем только своим. А в какой организации вы состоите, кто вас знает? Принесите рекомендательное письмо!

Никакой общеэмигрантской организации в Ницце нет. Когда-то о ней мечтали, пытались что-то сделать, но споткнулись на вопросе, кто должен ее возглавлять. Это была пора, когда здесь еще шумели политические схватки, проходили заседания монархической партии и господствовали настроения парижского зарубежного съезда. На монархические собрания приходили сначала сотни, потом десятки и единицы. В конце концов собрания прекратились, а партия тихо скончалась. Некоторые деятели умерли, другие увяли и постарели, третьи забаррикадировались в своих виллах. Организованная политика в эмиграции окончилась, за исключением противоборствующих течений младороссов и национальных союзов молодежи. Но в них участвует в провинции лишь незначительное меньшинство. В Ницце их совсем немного.

Как повсеместно, благотворительные учреждения здесь совсем сжались и перешли на самоокупаемость своих предприятий. Единственным действительно общедоступным и бесплатным является много лет существующая столовая. Ежедневно в ней выдается от восьмидесяти до ста обедов неимущим русским. Ее существование обязано исключительной настойчивости ведающего ею маркиза Меранвилля де Сен-Клер.

Несмотря на звонкое имя, маркиз совсем русский человек, хотя и природный француз. Родился он в России, там учился и служил. Не поладив с правительством задолго до войны, он перебрался в Париж, а затем в Ниццу. С появлением здесь эмигрантов вошел в образовавшийся комитет по оказанию беженцам помощи и специализировался на их питании. Без него столовая давно бы уже закрылась. Это признают в Ницце все. Старик маркиз умеет находить деньги и привлекать пожертвования богатых иностранцев.

— На русских у меня надежд мало, — рассказывает он, показывая мне столовую. — Что с них возьмешь? Многие разорились, другие дрожат над остатками и копейки не дают на то, чтобы накормить голодных. Помогают в сущности только две русские семьи. Остальные все советовать хотят. А я терпеть не могу советов. Вы не Белинский, — говорю я, — чтобы критиковать! Делаю свое дело, как понимаю и считаю нужным. Не нравится — забаллотировать меня на выборах. С радостью уйду. Мне уже 85 лет, довольно поработал. Критика идет со всех сторон. Почему то, да почему это. Зачем держать персонал, когда обслужить столовую могут сами столовники? Знаю я это обслуживание добровольным трудом! Да и служащих у меня всего пять человек с вознаграждением от 150 до 300 франков. Люди все-таки зарабатывают и свое место имеют. Обеды выдаем бесплатно всем, кто бы ни был. Голоден? Пожалуйста, получай свою порцию. Скромно? Не каждый день мясное блюдо? Верно: к сожалению, лучшего дать не можем. У нас бывает и больше ста человек. Званий не спрашиваем. Какие теперь звания? Наши титулованные этого не понимают. У меня самого какая-то длинная фамилия. В наше время какое это имеет значение? Дайте, говорю, мне пятьдесят тысяч на столовую, и остаток жизни я согласен называться Горшковым...

Несмотря на свои годы, маркиз полон бодрости. Сам следит за ходом дел в столовой, выискивает людей, к кому можно обратиться за поддержкой, куда-то пишет, с кем-то спорит, а по воскресеньям обходит с тарелкой церковь, собирая для столовой дырявые су.

— Никогда не следует унывать, — говорит он. — На своем веку я много видел. Выигрывал миллионы и проигрывал миллионы. Жил как хотел и врачей не слушал. Простая простуда нормально проходит в десять дней без помощи врача и в двадцать, если следовать его советам. Впрочем, врачи — прекрасные люди, хотя ничего и не понимают. Как-то недавно захворал я. Температура поднялась, лежу, едва соображаю. Пришел доктор, осмотрел, прописал лекарства, а потом слышу сквозь забытие, говорит ближним: «В таком возрасте едва ли сердце выдержит. Впрочем, если будет исполнять мои предписания, может быть, поправится». Через три дня приходит снова, а я уже

сiju одетый, и все его микстуры в полной неприкосновенности тут же на столе стоят. Ну, что же — руками развел.

— Ходит к нам в столовую, — продолжает маркиз, — один русский старик. В чем, кажется, душа только держится. Я ему помимо обедов по десять франков в месяц выдаю. Как-то пропал, не вижу его. Однако в положенный день является. «А вы еще не умерли?» — спрашиваю. «Нет, живу, слава Богу», — отвечает. И, действительно, живет себе, а какая у него жизнь, можете представить?

В полдень столовая на улице Лоншан наполняется народом: старики, бывшие российские чиновники всех ведомств, земские и банковские служащие, старушки, вдовы, просто люди разных званий и положений, выброшенные революционным шквалом на чужбину, случается и молодежь. Все получают два блюда с хлебом. Но человеку необходим еще и кров, и вечерняя пища. Как и где они это имеют, кто знает?

Вокруг новой церкви помещается ряд русских учреждений. В большой старой вилле, содержимой частным лицом, бьющимся, как рыба об лед, интернат для русских мальчиков. Их здесь всего десять, родители платят неаккуратно, средств не хватает. Тут же в одной из комнат, в которой стоит несколько черных парт, происходят занятия четверговой школы. В небольшом зале устраиваются заседания кружка ревнителей русского прошлого, на которых участники его делятся друг с другом воспоминаниями и соображениями о российских судьбах, собрания культурно-просветительного кружка для молодежи и других местных организаций.

Раз в неделю в помещении школы принимает по делам Союза комбатантов и военных инвалидов представитель этих объединений, всегда любезный к посетителям генерал М.А. Свечин.

— На всей Ривьере в Союз русских комбатантов входит около 700 человек, — рассказывает мне генерал. — Люди занимаются, чем придется. Находить работу в последние годы стало трудно, шомажа не дают. Правление нашей организации заботится о документах, выдает рекомендации, хлопочет о разрешении на труд и по разным другим нуждам своих членов. В Союзе инвалидов 46 членов, а 30 от нас откололось. При поддержке монакской принцессы

удалось организовать инвалидный дом, в котором живет 18 инвалидов. Содержание его обходится в 32 тысячи в год. Одно помещение стоит 7 с половиной тысяч. Благодаря стараниям заведующего, очень предприимчивого и деятельного человека, довольствие пансионера обходится в 2 франка 75 сент. в день. И ничего: все очень прилично, сытно, а чистота и порядок не оставляют желать лучшего. В этот дом можно было бы принять и больше пансионеров, но необходимо, чтобы за них кто-нибудь платил. Своих средств не хватает, а добывать их при помощи благотворительных балов и сборов становится труднее.

Энергичная В.В. Чичерина организовала для престарелых одиноких женщин общежитие и для приезжих Дом отдыха на вилле «Конак», в окрестностях Ниццы. В том и другом — нужда большая, но удовлетворить они могут лишь немногих. Причина та же: средств нет. В свое время кое-кого удалось устроить бесплатно, остальные должны за себя платить. В общежитии всего 22 пансионерки, по большей части глубокие старушки. Рядом нанята другая вилла для желающих жить в отдельных комнатах. Здесь плата будет несколько повыше.

Раньше в Ницце были еще русские гимназии и отлично оборудованная лечебница. Однако с введением бесплатного обучения во французских лицеях число учеников в гимназии стало падать, и за недостатком средств ее пришлось закрыть. Лечебницу же, имевшую в эмигрантской жизни громадное значение, кто-то почему-то перевел в Марокко. Была, наконец, здесь большая русская библиотека имени Герцена, учрежденная еще старыми эмигрантами и кочевавшая из одного помещения в другое. За отсутствием достаточного числа подписчиков, а следовательно, и доходов на содержание, она тоже закрылась, а остатки книг свезли в бесплатно предоставленное одним русским домовладельцем полуразвалившееся помещение и там сложили. Большое собрание русских старых книг, около 6 тысяч томов, сохранилось в старой церкви на улице Лоншан. Они в полном порядке сложены в шкапах, но чтобы не пропали, просто никому не выдаются. Вскоре после ликвидации герценовской библиотеки открылась частная, и эта, вопреки утверждениям, будто в Ницце никто читать не желает, пошла и благополучно существует.

В конце бульвара Цесаревича, в большой вилле со спускающимися террасами тенистым парком Франко-русский комитет сдает, на началах «хозрасчета», русским комнаты. Цены невелики и соответствуют качеству предоставляемых жилищ. Не дороже и не дешевле, чем в частных домах. Однако русские охотно селятся здесь, чтобы быть в своей среде, а некоторые из знатных дам и «в своем обществе». Это имеет громадное значение, не только психологическое, но и материальное, в смысле поддержки и взаимных одолжений. Все здесь друг о друге знают все и существуют своеобразным замкнутым мирком, словно на другой планете.

Для маленьких детей в квартирке из двух комнат, в частном доме рядом с церковью, устроен русский детский сад, умудряющийся сводить концы с концами благодаря заботам ведающей этим учреждением гр. Уваровой и преданного делу персонала. Детей всего 25, из них четверо бесплатных, за остальных родители через пень в колоду платят. Плата 90 фр. в месяц за целый день с горячим завтраком и чаем с хлебом к концу занятий. Но родители, обычно люди неимущие, сами перебиваются из куля в рогожку, или многосемейные. Внести 90 франков нелегко, а кроме того у многих вообще создалось убеждение, что в русских учреждениях можно и не платить: как-нибудь перебьются или раздобудут у богатых благотворителей.

По утрам дети учатся под руководством ласковой заведующей русской грамоте, потом играют в церковном саду. После завтрака читают, рукодельничают. Иногда устраиваются спектакли, на которых в лицах изображаются «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица», декламируются стихи и жидким детским хором исполняется сочиненная учительницей патриотическая песенка.

Эти болезненные русские мальчики и девочки с худыми голыми ногами — самое печальное, что есть в эмиграции, печальнее даже бесприютных стариков в столовой маркиза Меранвилля! Печальна и их песня, с повторяющимся жалкими голосами рефреном:

Мы все о России мечтаем
И этой мечтою живем,
И детям своим повторяем:
— Отчизну мы вновь обретем...

Последние новости, 17 мая 1937, № 5896

34. КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

О Монако написано столько, как ни об одном государстве в три километра в длину и один в ширину. Дело, конечно, не в местоположении, как оно ни блестяще, не в мудрости правителей и законов, не в самом населении и его нравах.

Населения-то всего здесь двадцать тысяч, из которых подлинных монегасков около трех. Остальные — иностранцы. Никакой промышленности, ни земледелия или полезных ископаемых нет и в помине, а торговля производится привозными товарами. Но в стране есть все остальное, что требуется приличиями: конституция, почтовые марки и даже армия в три десятка нарядных солдат под командой еще более нарядного офицера. Кроме того великолепный театр, первоклассные гостиницы, несчетное количество ресторанов, справочных контор и отделений мировых банков.

Самым замечательным, пожалуй, в государственном устройстве является лишь то, что это единственное на земном шаре место, где граждане не платят никаких налогов, не отбывают повинностей и вообще не имеют никаких обязанностей, кроме как наслаждаться, в меру умения, жизнью и свободой. Все это оказалось возможным благодаря изобретению гениального Блана, основавшего здесь много лет назад «Общество морских купаний».

Смысл предприятия, разумеется, не в купаньях, а в мишурно-великолепном казино с рулеткой. От нее, в сочетании с прекрасным климатом и живописной природой, — все блага. Благодаря рулетке, нет налогов, на доставляемые ею средства содержится государственный аппарат, осуществляется благоустройство, и чуть ли не за «символический» франк отпускается гражданам газ и электрическая энергия. Налоги взимаются только с приезжих в виде таксы за пребывание в стране. Остальное доставляет изобретенная Бланом машинка.

Игра имеет свою философию, рулетка — в особенности. Это сконцентрированная, бешено ускоренная в своем темпе и результатах борьба за удачу. Белый шарик кружится непрерывно и каждые полминуты сулит выигрыш. Единственная сотенная бумажка может сейчас же, сию минуту

превратиться в тысячи, а тысячи в десятки, сотни тысяч, миллионы. Они не абстрактны и лежат тут же на столах, в виде шуршащих кредиток и обмениваемых в кассе на реальные деньги жетонов. Кто был ничем, через несколько минут может стать всем! К его услугам будут все блага этого мира: природа, роскошные отели и рестораны, театры, автомобили, магазины. Он будет свободен и независим, получит почет и общее уважение. Это не фантазия, не нелепость, как надежда на один из миллиона лотерейных билетов получить тот, цифры которого через месяц где-то должны будут сойтись с цифрами главного приза. В лотерее человек — жертва многократного действия случая, а не активный участник борьбы. Тут же счастье в его руках. Игрок совершенно свободен. Нужно только угадать, куда упадет шарик. Красное или черное? Какое из тридцати семи выпадет число? Вопрос решится через несколько секунд. Если угадываешь правильно, много раз, на разных столах, можно выиграть все, все деньги в казино и хранящиеся в кассах «Общества морских купаний». Практически, правда, этого никогда не бывает. Изобретатель рулетки Блан отлично понимал это, утверждая, что «руж и нуар» то выигрывают, то проигрывают, «блан» же выигрывает всегда. Угадать номер можно раз, реже два, невероятно редко пять раз подряд. Гадалки предсказывают, что совершится через год, политики и ученые — через десять лет, но никто не скажет, что произойдет через секунду, — куда упадет шарик?

Каждый удар, не связанный со всеми предыдущими и последующими, — слепой случай. Банк тоже играет. У него ряд преимуществ перед игроком: прежде всего лишний 37-ой шанс в виде zero, неограниченный капитал, непрерывность игры, предел, выше которого запрещается ставить, наконец, теория относительности и психология игроков. Это те же преимущества, какими обладает сама судьба перед жизненными игроками. В соревновании нет равенства. Нужно слишком сильное отклонение от теории вероятности, по которой в больших отрезках времени выпадает почти одинаковое число тех или иных комбинаций, пропорционально количеству математически высчитанных шансов, чтобы человек победил. Если взять выпускаемый администрацией казино бюллетень выходящих за неделю

или месяц цифр, можно убедиться, что количество красных и черных почти совпадает, а число любого из 36 номеров составляет приблизительно одну тридцать шестую часть. Это закон больших чисел, известный статистикам, закон, по которому в любой стране каждый год происходит одинаковое число краж, самоубийств, пожаров и автомобильных катастроф. Каждый отдельный случай свободен, но все вместе строго закономерны.

Психология игроков также подчинена своим законам. Человек понимает, что в конечном счете неизбежно выигрывает только Блан, но случай слеп. Это не опровергнуто никакими теориями. По крайней мере, таково субъективное ощущение. Шарик свободен упасть, куда придется, и порой пятнадцать раз кряду ложится на красное. Никакой логики, никакой справедливости, полный хаос. И кто возьмется доказать, что он не ляжет туда же и в шестнадцатый раз?

Люди отлично знают, что согласно теории вероятности легче попасть под автомобиль, чем выиграть в лотерею, и тем не менее билеты покупают и будут покупать.

— В чем угодно себе откажешь, — говорит русский эмигрант, — а десятую долю непременно на каждый транш купишь!

— А я вот не покупаю, — заявляет женщина, старая русская няня. — Зачем тратить деньги? Если Господь Бог захочет послать счастье, я и без билета миллион выиграю.

— Да как же вы, няня, без билета выиграете-то?

— А вот так и выиграю, как Бог устроит. На все его воля!

Она, вероятно, права. Во всяком случае, теория скорее за нее.

Законы больших чисел и анализ шансов известен не только банку, но и отпетым игрокам. У них даже некоторое преимущество: банк пассивен, постигший же смысл игры активен и может гарантировать комбинации, приспосабливаясь к намечающимся тенденциям игры. Отсюда рождается идея системы, то есть организованной борьбы со случаем. Нужны лишь выдержка и терпение. Против машины должна действовать мыслящая, не поддающаяся увлечениям машина. Если семь раз подряд вышло черное, шансы на то, что выйдет красное, увеличиваются. Значит, необходимо ставить на красное. Бито? Надо удвоить ставку. С каждым

ударом шансы красного растут. Десятки людей часами сидят и ждут такой серии, один в пять, другие в семь, третьи в десять случаев. Это — мучительная и долгая игра на простые шансы. Чтобы выиграть сорок-пятьдесят франков, надо принести полторы тысячи, а в последнюю минуту рисковать всем капиталом ради сорока франков.

Разные бывают системы. Администрация казино сама их поощряет, охотно их издает.

Одни строятся на расчетах, другие на предзнаменованиях и суевериях. Результаты одинаковы и таковы же, как в обычной человеческой борьбе с судьбой. Общее их преимущество перед бессистемной игрой заключается лишь в том, что игрок вносит некоторый порядок в свои действия, уменьшая этим шансы и размеры проигрыша.

— Моя система очень проста, — рассказывает мне одна ниццкая дама. — Прежде чем отправиться в казино, я наудачу открываю томик Пушкина, загадываю определенную строчку. Если в строчке оказывается какая-нибудь приятная мысль, еду и ставлю на комбинации, близкие удачной цифре строки. В противном случае от игры воздерживаюсь. Вот вчера, например, совсем было собралась в Монте-Карло. Взяла Пушкина, загадав 13-ю строку сверху. Вообразите, открыла и читаю из «Пиковой дамы»: «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолом, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!»

— Ну разве после таких слов мыслимо играть? Понятно, осталась дома. . .

В самом начале эмиграции рулетка привлекала к себе не одних малоимущих, мечтавших из ничего сделать деньги. К ней тянулись и состоятельные люди. Одним хотелось приумножить то, что имелось, других влекла жажда борьбы и вера в удачу. В Монте-Карло играют и очень богатые люди, которым, казалось бы, деньги не так нужны. Тянет не жадность, не жажда легкой наживы, а именно острота ощущения борьбы. Когда деятельный человек по тем или иным причинам выходит из житейской игры и ему становится скучно, необходимые переживания дают карты, еще больше рулетка, в особенности в Монте-Карло.

Все игравшие с системами и без них проигрывались. Выигравшие на первых порах иногда значительные суммы

неизбежно возвращались и быстро их проигрывали, в лучшем случае бестолково спускали тут же, в искусно расставленных для счастливых ловушках. Исключения — редкость. Один эмигрант, начавший игру с самыми ничтожными деньгами, выиграл полмиллиона. Характер у него оказался сильный. Он дал себе слово больше не играть, вернулся в Париж, открыл какое-то предприятие, но через два года умер. У вдовы дело пошло плохо и вскоре совершенно прогорело.

Очень нуждавшийся в Ницце русский после долгих вычислений с логарифмами изобрел беспроигрышную систему. Для испытания ему требовалось полторы тысячи франков, которых, разумеется, не было. Увлечшись системой, он ни о чем не мог ни думать, ни говорить. В конце концов ему удалось убедить принять участие в игре свою квартирную хозяйку-француженку. Та согласилась, но с непременным условием, чтобы деньги оставались у нее в сумочке, а выигрыш тотчас же постунал туда же. Доходы условленно было делить пополам. Изобретатель с капиталисткой отправились в казино и после трех-четырех часов работы несколько раз возвращались с тремястами франков. Из своей половины изобретателю никак не удавалось скопить нужной суммы, чтобы, начав играть, одному «сделать деньги».

Однажды, меланхолически прогуливаясь по Променад де-з-Англе, он набрел на мелькавшую под ногами стофранковую бумажку. Оглянувшись, он наступил на нее и, как ни в чем не бывало, стал любоваться морским видом. Потом осторожно нагнулся и вытащил из-под каблука деньги. Это были настоящие сто франков! Что же с ними делать, как не попытаться счастья у рулетки? Сейчас же бегом к автобусу, и через полчаса удачник в казино. При таком предзнаменовании не до кропотливых систем! Для пробы ставка идет на красное и берет. Потом вся сотня ставится на дату рождения. Шарик тарыхтит, вертится и падает на дату рождения. Выдают 3.600 франков! Все идет на черное. Взято. Еще сотня на ноль. Выходит ноль. Через полчаса у счастливого пятнадцать тысяч в кармане. Проиграв три тысячи на черное, с двенадцатью возвращается в Ниццу.

— Еще рано, но сегодня праздник, банки закрыты. Куда девать деньги? Дома оставить опасно — ничего запирающегося в убогой комнате нет. Лучше пойти к приятельнице

и попросить спрятать десять тысяч, а две оставить для игры. Все равно делать нечего, а после рулетки и такой удачи все кажется пресным и ненужным. В крайнем случае можно и проиграть, хотя бы для забавы. Останется ведь целых десять тысяч — капитал, какого и в руках никогда не держал.

Но знакомой не оказывается дома, ушла в кинематограф. Что делать? Остается ехать в Монте-Карло. Характер выдержит. А может быть, воздержаться?

К восьми часам вечера игрок уже в казино. Играет сдержанно, но удачи нет больше: ставит на черное, выходит красное, на первую дюжину — выходит вторая. Система забыта, в голове угар.

В час ночи, без копейки он возвращается пешком в Ниццу. Проиграно все; не осталось даже на автобус.

— Больше, — говорит, — не играю. Довольно. Все это глупости. Вот если бы найти капитал в полторы тысячи, можно было поиграть серьезно и без компаньонов. Дело абсолютно верное, система испытана на практике и действует без риска. В день можно выиграть триста франков, девять тысяч в месяц. Если удвоить капитал, удвоится и выигрыш. Вы понимаете?

Помимо нескольких русских дансеров, певиц и служащих в туристических бюро переводчиков и агентов, есть в Монако и застрявшие игроки. Ежедневно от трех до пяти всегда за одним и тем же столом сидят пожилые супруги. Для них рулетка — служба. Играет только жена, а старичок-муж в это время что-то шепчет и быстро крестится под пиджаком. Наиграв пятьсот франков, супруги уходят. Возвращаются в парк послушать музыку. Говорят, так продолжается у них долгие годы. Старушка постигла тайный ритм рулетки, и шарик ей не изменяет.

Здесь же живет купеческий сын, бывший богач с далекой Камы. В рулетку он проиграл миллион золотых рублей еще до войны. Старик-отец, разгневавшись, лишил беспутного сына наследства, но «Общество морских купаний» оказалось гуманнее и назначило небольшую пенсию.

В игорный зал ему входить не возбраняется. Запрещено только играть. По старой привычке и от скуки он наблюдает чужие ставки и следит, куда попадет шарик, на красное или черное. Ему же давно, в сущности, все равно, что побе-

дит. Ничего от этого не изменится. Жизнь прошла. Игра кончилась проигрышем. Теперь играют другие.

— *Faites vos jeux, messieurs!*³³ — настойчиво приглашает крупье.

Последние новости, 24 мая 1937, № 5903

35. ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Корынш считается самой живописной дорогой в Европе. Горы подступают здесь к самому морю. Извивающаяся лента дороги прокладывалась по уступам скал. Когда не помогала кирка, действовал динамит. Шаг за шагом, год за годом человек сглаживал угловатости природы и причесывал ее девственную лохматость, приспособляя их к своим потребностям и вкусам. Строились сверкающие белизной виллы, насаждались пальмы и благоухающие олеандры, по сторонам дороги вырастали автомобильные гаражи, кафе и рестораны. На обтесанных каменных пластах появлялись пестрые рекламы отелей, мыла и шоколада, а за ними агитационные афиши и просто выведенные громадные надписи красной краской: «Да здравствует Торез», а рядом черной «Да здравствует Ля Рок»...

Природа всем этим как бы оттерта на задний план, смирилась и стушеввалась. В неприкосновенности, таким же, как и тысячу лет назад, осталось только море, с которым ничего нельзя поделаться. Путь от Ниццы до Ментоны, минуя Вильфранш, Болье, Монте-Карло, Рошеброн, продолжается на автомобиле минут сорок. В быстром мелькании строений, скал, агав, плакатов, поросших зеленью утесов, лазури моря, с их разнообразием ярких красок, все смешивается в одну кашу. Проносящиеся предметы легче рассмотреть в кинематографе, чем из окна автомобиля.

Возвращающиеся из Ниццы обитатели Ментоны не смотрят по сторонам, уткнувшись в свои газеты. Им давно тут все знакомо. Русские же ментонцы вообще редко выбирают из дома. Их здесь сотни две, все больше старики.

Ментона самое тихое и спокойное местечко на Ривьере. Со всех сторон город окружен горами, защищающими его от ветров. Летом здесь жарко и душно, как в парилке, зато зимой всегда тепло. Законопачены все щели. Нет ниццской

суеты и каннской роскоши. В старомодных отелях и пансионатах, где отдыхают пожилые англичане, солидная тишина и такая же, чисто великобританская скука. Между завтраком и обедом совершается неизменная прогулка по набережной, до итальянской границы и обратно. Можно еще покормить круасанами чаек или посидеть в кафе у моря, вслушиваясь в монотонный плеск волн и шуршание камней на пляже.

Когда-то врачи всего мира полагали, что климат Ментоны особенно благоприятен для нервных, слабогрудых и туберкулезных. Поэтому на окраинах города одна за другой открывались санатории. Теперь врачи считают, что местный климат для легочных больных наиболее вредный. Климат в Ментоне остался прежний, но изменились врачи и методы медицины. Поэтому лечебницы стали закрываться, а санатории превращались в обыкновенные пансионы.

Учрежденная в прошлом веке общиной святой Анастасии Российского общества Красного Креста большая санатория для туберкулезных с появлением эмиграции была преобразована в Русский дом. У Красного Креста средств нет, и дом может существовать лишь как самоокупающееся предприятие. Поэтому, комнаты сдаются за плату от 50 до 135 франков в месяц. Жильцы могут пользоваться общим столом или, по желанию, самостоятельно готовить пищу в отделенных для каждого этажа кухнях. В благоустроенном 3-х этажном, расположенном в тенистом саду доме живет около семидесяти человек. Все это представители верхних слоев старой России, так же, как и в другом ментонском общежитии, в котором поселилось 20 пансионеров: престарелые статс-дамы, помещицы, сановники, придворные чины. Как водится, несмотря на небольшое число русских, две разных юрисдикции церкви: одна, сохранившаяся с прошлых времен, нарядная, с синим куполом и ярко блестящим на южном солнце золотым крестом, другая — беженская. В свое время церковный раскол переживался здесь очень болезненно. Сторонники обеих юрисдикций считали друг друга чуть ли не еретиками. Но годы смягчают все. Пройдет несколько лет, и станет вовсе непонятным, из-за чего все произошло.

Жизнь в таких уединенных русских углах складывается вне времени и пространства, а обитатели их могут и не

одним российским комсомольцам показаться выходцами с того света. Живая безобидная картина на тему «все в прошлом». А сколько здесь воспоминаний и исторических свидетельств! Отлично сохранившийся девяностодвухлетний деятель эпохи реформ Александра II может рассказать о них и о приемах в Зимнем дворце так, точно это происходило вчера, а, увлекшись воспоминаниями, и о том, что ему, еще ребенку, говорил о матушке-Екатерине родной дед.

— Выходящих в Париже русских газет я не читаю, — заявляет мне одна старушка. — Разве это газеты? Все какие-то левые агитационные листки, как их называют. Да и кто там пишет? Все новые какие-то, я их не знаю. Раньше, бывало, мне присылали пачками из Белграда «Царский вестник», а теперь читаю «Эклерер». С меня довольно. Там все есть; даже больше, чем надо.

На старости дни, даже пустые, бегут быстро. Повозится утром пансионерка со своим несложным хозяйством, а там, глядишь, пора обедать. После обеда надо потолковать о том, о сем, потом разложить пасьянс, совершить прогулку, а к шести ко всеношной в церковь. День и прошел. Разница характеров сказывается и тут. Одни заботливо следят за порядком в своей комнате, уделяя этому немало времени и слабых сил, другие совершенно равнодушны к окружающим условиям жизни.

— Зачем еще возиться с этой чистотой? — отвечает на укоры соседок в одном ривьерском русском доме некогда богатейшая дама. — Мне время дорого, немного осталось. Что же я считанные минуты уходящей жизни буду тратить на черную работу? Не делала ее раньше, и теперь не стану делать. Грязно, невыметено, порядку нет? И не нужно: я и внимания на это не обращаю.

А рядом, у другой светской дамы в комнате размером с парходную каюту — подобие будуара и ни соринки. Хозяйке самой себе важно доказать, будто ничего не произошло, и во что бы это ни стало, скрыть от посторонних взоров нищету. Еще недавно на именины тут устраивался скромный прием соседей и друзей. В последние годы даже это стало не по средствам, и на дверях в торжественные дни вывешивается бумажка с надписью: «приема нет».

Одни давно примирились с новой жизнью и положением. Другие по-прежнему полны негодования. Каждое выне-

сенное ведро, каждая с трудом растопленная печка, собственноручно вымытый пол или очередное унижение на чужбине поднимают со дна души потоки раздражения на всех этих рабочих и мужиков, забывших свои обязанности и долг по отношению к единственным хозяевам страны. Психология выгнанных из дому собственной прислужкой хозяев мешает, правда, жить, но расстаться с нею невозможно. Другого дома нет и быть не может, забыть же свой старый — свыше сил. И люди ходят кругом да около насиженного места, любят его и вместе люто ненавидят. Уж лучше сжечь дом, разнести по камням или подарить соседям, чем оставить его во власти черни, «бывшей прислужки».

Собираясь вместе, здесь вспоминают с умилением, что и как в доме стояло, на каких местах, как уютно и тепло жилось в нем, а дальше выясняют, кто же те злейшие враги, что все переместили и поломали.

Вдова предводителя дворянства с негодованием утверждает, что наши люди ничего не поняли до сих пор не только там, но даже и здесь, за границей.

— Вчера, например, — взволнованно говорит она, — нужно было мне снять со шкафа картонку. Вижу в окно, идет по улице русский рабочий. Ну, вежливо прошу его помочь мне, а он «подождите, — говорит, — иду на работу, освобожусь, зайду к вам». Ничему его, дурака, революция не научила.

— Годы-то идут, а ума что-то не прибавляется, — вторит штатский генерал. — Ну, потешились, кажется, и будет. Пора всем по местам. А то, когда еще все приведешь в порядок. Стареем ведь! Вы только, барон, — обращается он к соседу, — все такой же, точно время для вас остановилось. Раскройте нам, пожалуйста, ваш секрет! Все будут благодарны.

— Никакого секрета нет, ваше превосходительство, — отвечает барон. — Не случись революции, был бы уже действительным статским советником. Как полагалось в Петербурге, фрондировал бы, побранивая правительство, и жаловался, что долго не представляют к тайному. А тут, кто замерз на надворном, так соответственно чинам и выглядит!

— Да, чины великое дело. Неужели вы только надворный? Всегда думал, что вы статский советник, — удивляется старик.

— Не успел, ваше превосходительство, не дослужился...

Есть на Ривьере и другие старики, остатки прежней эмиграции. У них своя иерархия и свои тайные советники. Около Ментоны живет девяностолетний русский анархист. Побывав после революции в России, он вернулся снова на французский юг. Тут лучше: послереволюционная Россия показалась ему еще более чуждой. Остальные так и не выезжали из своих углов, в которых в неприкосновенности сохранился духовный инвентарь прошлого века.

На уединенной ментонской вилле встречаю знаменитого скульптора С. Бернштама, перевезшего из Парижа и пожертвовавшего городскому управлению Ментоны всю свою грандиозную коллекцию скульптуры, а у себя дома сохранившего великолепное собрание картин русских художников.

В ментонском городском музее теперь стоят бронзовые фигуры русских царей, проекты памятников, собственно-ручно снятая им с мертвого Достоевского гипсовая маска, исполненные автором с натуры бюсты Гончарова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. Всех их хозяин знал лично и помнит лучше, чем современников.

— У меня много было русских друзей, и среди правых, и среди левых, но лучшим моим заказчиком был Николай II, — медленно подбирая русские слова, говорит художник. — Больше работать не могу — стар стал. 92 года. Двадцать лет назад купил здесь дом и переселился из Парижа.

Все это — осколки, последние могикане. Прошлая Россия постепенно уходит, и ее стало гораздо больше на местных кладбищах. На Кокаде, русском некрополе Ривьеры, почти не осталось свободных мест. Заполнена вся горка, и хоронить приходится в несколько этажей. Могилы теснятся одна к другой. На скромных плитах мелькают знакомые имена министров — Сазонова, Барка, Трепова, обер-прокурора Воложина, Куломзина, гр. Бобринского, а дальше — Гирса, генерала Безобразова, статс-дамы графини Бенкендорф, урожденной Долгоруковой, княгини Юрьевской, и еще, еще: князья, графы, генералы, сановники. Чуть не вся аристократия России собрана на маленьком клочке земли!

А дальше, у кладбищенской часовни, — общая могила, где погребены свезенные с других ниццских кладбищ рус-

ские кости. Под небольшим холмом нашли окончательное успокоение и правые, и левые, останки нынешних и бывших эмигрантов.

На старом кладбище, что на замковой горе, остались лишь погребенные в вечных могилах. Здесь господствует другой стиль. Внизу расстилается вся Ницца, а за нею голубой водный простор. Пышные гробницы с плачущими ангелами и обычной символикой богатых кладбищ окружены цветами. Вдоль стен тянется шеренга кипарисов. Пахнет левкоями и вянущими нарциссами. Во всем чувствуется порядок, обстоятельность, солидность. Белый и розовый мрамор, балюстрады, широкие лестницы, аккуратно подстриженные траурные туи. В самой глубине кладбища не вяжущаяся с ансамблем одинокая могила под темным памятником с человеческой фигурой в натуральный рост. На сером пьедестале пожилой русский интеллигент в позеленевшем, коротком сюртуке и со скрещенными на груди руками задумчиво глядит на фамильные склепы каких-то Верани и Маркобелли. Рядом похоронены два младенца: Lola-Girl и Lola-Boy, а дальше прусский артиллерийский полковник. Под статуей на пьедестале надпись:

«A Alexandre Herzen Moscou 1812-1870 Paris

Sa famille, ses amis, ses admirateurs»

И потом в скобках:

«Concession a perpetuitu»³⁴.

Последние новости, 4 июня 1937, № 5914

ВОКРУГ ПАРИЖА

Столица окружена кольцом больших и маленьких, почти сливающихся одно с другим местечек. С годами они растут. Застраиваются пустыри, проводятся новые улицы, открываются лавки и гаражи. Во всех этих пригородах и городках можно встретить русских, в одних больше, в других меньше. Иногда это — одна, две семьи, в ином — десятки, и даже сотня. Каждый занимается, чем Бог послал, как-то существует, приспосабливаясь к многотрудным условиям эмигрантской жизни. Многие в Париже бывают редко: каждая поездка — все-таки лишние расходы! Единст-

венной связью является русская газета, из которой узнают, что происходит в мире, в России, и как живут русские эмигранты в других углах.

За последние годы тут стали образовываться русские объединения. Это уже не прежние профессиональные или политические организации с тем или иным оттенком, а просто местные группировки, ставящие единственной целью облегчить и улучшить свое положение. Общими усилиями легче достигается то, что непосильно отдельным людям. Нужна русская школа для подрастающих детей, нужны юридическая консультация, русский врач, касса взаимопомощи, наконец, просто место для встреч и более разумного времяпрепровождения, чем обыкновенные бистро и надоевший кинематограф.

Пионерами оказались русские в Клиши. Как всегда бывает, за дело взялись несколько предприимчивых людей. К ним постепенно стали присоединяться остальные. Раздобыли бесплатное помещение, трудами добровольцев ремонтировали его и привели в порядок. Устроили церковь, открыли клуб, школу, собрали библиотеку, потом завели пианино, необходимую мебель и стали устраивать собрания, концерты, лекции и доклады, а для усиления средств — вечеринки и балы.

Объединение становилось все многочисленнее, привлекая к себе русских даже из других районов. Перекочевавшие в Булонь или в Биянкур все же оставались в его составе и приезжают на его собрания. Все, что удалось за несколько лет осуществить, сделано без всякой поддержки извне, без благотворителей и каких-либо опекунов, собственными руками и на собственные гроши.

В прошлом году образовалось другое объединение — эмигрантов, проживающих в северо-западных предместьях Парижа с центром в Аньере, поставившее себе те же цели улучшения бытовых сторон жизни. За короткий срок, благодаря энергии взявшихся за дело людей, удалось организовать целый ряд полезных учреждений: юридическую консультацию, медицинскую помощь, похоронную кассу. Тут еще нет своего постоянного помещения для собраний, и объединившиеся пользуются наемным частным залом, в котором устраивают лекции и вечеринки.

Наконец, совсем недавно появилось объединение русских в восточных пригородах Парижа, включающее проживающих в Нежан, Шампиньи, Мэзон-Альфор, Жуанвиле и соседних городках. Как и оба предыдущих, оно стоит вне политики и «ставит своей целью моральную и материальную взаимопомощь и культурные задачи». Основной заботой является воскресно-четверговая школа, которую посещает свыше двадцати детей. В просторном помещении, снятом в Жуанвиле около вокзала, заведена уже маленькая библиотека, в состав которой вошли пожертвованные Земгором и собранные среди самих русских книги, бесплатная юридическая помощь, организован небольшой струнный оркестр, играющий на семейных вечеринках. В дальнейшем намечается открытие амбулаторного приема и устройство систематических культурно-просветительских лекций.

Средства составляются из членских взносов и займов у сочувствующих делу членов. Как-никак удалось оплатить первые trimestры за квартиру, произвести ее ремонт, оборудовать самым необходимым школу. Почти все члены объединения — рабочие местных фабрик, заводов и мебельных мастерских. Никаких богачей, конечно, нет, но скромные взносы дают возможность правлению вертеться и даже мечтать в дальнейшем об отправке детей безработных и многосемейных в летние колонии, о приобретении пианино, создании кассы взаимопомощи, похоронного фонда и даже учреждении собственного кооператива.

В этих новых и по-новому налаживаемых группировках, строго беспартийных, действительно демократических и ставящих себе вполне реальные и всех интересующие задачи, совсем иные дух и настроение, чем в прежних эмигрантских. Это заметно уже по внешнему виду помещения, на стенах которого прежде всего бросается в глаза портрет Пушкина, а за ним русские пейзажи и виды городов.

Учредителям приходилось преодолевать немало затруднений, не только материальных. Острые углы не стерлись и до сих пор. Нужны были эластичность и вместе твердость, а главное, упорное желание осуществить поставленную цель и готовность бескорыстно посвятить себя тяжелой и малоблагодарной общественной работе. В огромном большинстве своем военным эмигрантам поначалу чужда была общественная деятельность. Не было ни навыков, ни соот-

ветствующей сноровки. Люди привыкли лишь по-военному подчиняться и руководствоваться «инструкциями свыше». Порою они и до сих пор лишь жадно ищут, кому бы покориться. Однако с вождями выходило плохо. Они не приходили, а наоборот, скрывались в небытие. Приказов больше не появлялось, и волей-неволей, приходилось действовать самостоятельно, каждому за свой страх и риск. Процесс распада, расслоения или дифференциации еще в полном разгаре. Но иногда, закончившись, он влечет за собою явления упорно проявляющегося объединения, правда, совсем иного, чем ожидали раньше и на какой возлагали известные политические надежды.

Все это, как и многое другое, вероятно, совершенно естественно и закономерно. Встречаются, однако, в эмигрантской жизни вокруг Парижа и чудеса. Иначе этого не назовешь, тем более явление частного и, в сущности, случайного порядка.

Жила-была в Париже знатная русская дама. Средств, как водится, у нее не было, а на какие-то остатки остатков она открыла пансион для приезжих английских и американских девиц. В числе пансионерок оказалась молоденькая американка, мисс Доротея, решившая некоторое время провести в Париже. Барышня пользовалась внимательностью заботливой хозяйки, а когда у нее скоропостижно умерла за океаном мать, оставив ее совершенно одинокой, горе девушки встретило горячее сочувствие. Мисс Доротея оказалась единственной наследницей громадного состояния. Начав самостоятельную жизнь, она не забыла хозяйки пансиона и ее рассказов о положении русских стариков из очутившейся в изгнании знати и выразила желание как-нибудь помочь им. Решено было организовать под Парижем общежитие. Вскоре был приобретен для этой цели громадный барский дом с парком в шесть гектаров, приведен в порядок, перестроен, обставлен. На все это потребовались миллионы, но юная благотворительница перед расходами не останавливалась. При ее состоянии они не казались чересчур большими. Дело создавалось на широкую ногу: с собственной электрической станцией, оранжереями, цветниками, прекрасно оборудованным медицинским кабинетом, домашней церковью, библиотекой и т.д.

Когда обнаружилось, что одного дома не хватает, мисс приобрела в другом месте второй, тоже с парком и полным инвентарем. Когда не хватило и этого, поблизости был куплен участок земли, и на нем построен третий дом.

Население общежитий все возрастало. В эмиграции становилось все больше беспомощных, нуждающихся в призрании стариков.

Так создался Русский дом в Сен-Женевьев де Буа. В главном здании, типа обычного провинциального «шато», потянулась своеобразная жизнь новых жильцов, в которой было что-то из мопассановского рассказа о французских эмигрантах «Менуэт». В одной из комнат была устроена нарядная домовая церковь, в общей гостиной развесили вывезенные из посольского особняка на улице Гренелль громадные портреты царей и цариц в массивных рамах, в библиотеке, под бронзовым бюстом Николая II, на покрытом бархатом возвышении установлено попавшее сюда тоже из посольства вызолоченное, обитое малиновым плюшем, тронное кресло под чехлом. Все получилось очень солидно, благоустроено, и совершенно не похоже на беженские общежития. Благотворительница вначале очень интересовалась судьбой своих пансионеров. Она навещала их, внимательно следила за тем, чтобы всего было вдоволь, а на святки присылала из Лондона на аэроплане индюшек и плум-пудинги. За десять лет существования учреждения многое изменилось. Почти половина населения дома перешла на расположенное по соседству кладбище, где вся правая сторона состоит из полутораста русских могил. Ассигнование на общежитие сократилось, новых пансионеров больше не принимают, а оставшиеся, около 200 человек, естественно, еще больше постарели. Двадцати из них больше восьмидесяти лет, и свыше семидесяти приближающихся к этому возрасту. Но среди русских нередко встречаются удивительно крепкие люди.

Еще совсем бодр прекрасно сохранившийся 78-летний князь, который любезно показывает мне большой фруктовый сад с сотнями яблонь, груш и рядами кустов смородины и крыжовника. Все это возделано им самостоятельно, без всякой помощи, и содержится в образцовом порядке.

— Люблю деревья, — говорит князь. — Это лучшие друзья человека. Не знают ни сплетен, ни злобы. Ухаживай

за ними, и они сторицей тебе отплатят! Даже вот эти старички, — указывает он на распластанные у каменной ограды ветви груш. — Нормальный век такого дерева пятнадцать лет, а ему уже, наверное, за сорок. И вот, как видите, немного о них заботы, и они готовы дать прекрасный урожай. О молодежи и говорить нечего!.. А дальше у меня розы, потом огород... Все сам вожусь...

Но князь тут единственный любитель-садовод. Остальные пансионеры просто тихо живут, а многие уже и не выходят из своих комнат.

В одной из них, совсем маленькой, наполненной зеленым светом из тенистого парка, директор дома представляет меня г-же С.Ф.Колчак. Все стены увешаны многочисленными семейными фотографиями, портретами покойного адмирала и устроившегося на службу в Алжире сына. На полке стопка книг на разных языках. Вдова адмирала — отличная лингвистка и собирается приняться за изучение единственного из неизвестных ей европейских языков, португальского, но, к сожалению, у нее нет еще словаря.

В маленьком домике, предназначавшемся раньше для консьержа, окруженная сувенирами прошлого, несколькими случайно вывезенными старинными картинами, фотографиями и единственным утешением и развлечением — радиоаппаратом, живет другая дама, одна из самых богатых когда-то в России женщин, графиня Шереметьева, вдова известного мецената и музыканта.

Дальше — еще и еще, княгиня, генералы и генеральши. Все переполнено во всех трех домах.

Я не знаю, как ведется дело в этом учреждении. Может быть, очень хорошо, возможно — и не очень. Дело это частное, и, во всяком случае, создавшая его молодая американка, действительно, оказалась настоящей благодетельницей для двух сотен русских стариков, у которых все в прошлом, а в настоящем лишь одинокая нищая старость.

Их жизнь здесь тиха, покойна, что и требуется, а настроения — понятны и без слов. Но человеческое общежитие не муравейник, и разнообразие мыслей всюду неизбежно.

— Что значит наша судьба в сравнении с судьбой нашей страны и всего народа? — говорил мне сейчас уже покоящийся на соседнем кладбище одинокий старик. — Эмиграция — временный эпизод, Россия — постоянна. Одни из

нас вымрут, другие растворятся в иностранной массе, кое-кто, может быть, вернется. Существенного значения для России, с ее многими миллионами все возрастающего населения, это не имеет. Среди эмиграции есть хлам, но очень много прекрасного человеческого материала. Обидно, разумеется, что в большинстве случаев он пропадает без пользы для себя и для России. Но что же поделаешь? Страна наша велика и обильна, а природа исключительно расточительна. Случалось и раньше отличному материалу пропадать... Страна тем не менее росла и развивалась. Жаль в этом отношении не Россию, жизнь которой измеряется веками, а человеческие, и главное, молодые жизни. А нам, старикам, что? Прожить бы как-нибудь в тепле. Много ли нам нужно?

Последние новости, 7 июня 1937, № 5917

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ *Камион* (фр. *camion*) — грузовик, фургон.
- ² *Кель реглеман дю суаре* — какова программа вечера.
- ³ *Контрометр* (фр. *contremaitre*) — старший мастер.
- ⁴ *Муо итальен, компран на франсэ...* — я итальянец, по-французски не понимаю...
- ⁵ *Рабочая карта* — удостоверение, дающее право на труд.
- ⁶ *Шомаж* (фр. *chômage*) — пособие по безработице.
- ⁷ «*Кэнзен*» (фр. *quinzaine*) — день выдачи зарплаты (букв. двух-недельный заработок).
- ⁸ — *Moi-même, je suis maintenant moitié-francé, moitié-russe!* — я теперь сам наполовину француз, наполовину русский.
- ⁹ *Дебара* (фр. *debarras*) — чулан.
- ¹⁰ «*La Physionomie humaine, comparée aux animaux* — сравнительный характер человека и животного.
- ¹¹ — *Papa! papa! George a crevé mon ballon. Achete-moi un autre!* — Папа, папа, Жорж порвал мой мяч. Купи мне другой!
- ¹²⁻¹³ *Арашид* (фр. *arachide*) — арахис, земляной орех.
- ¹⁴ *Вобан, Себастьян* (1633-1707) — знаменитый франц. маршал, инженер и писатель, специалист по устройству фортификационных сооружений.
- ¹⁵ «*Chambre des députés*» — палата депутатов.
- ¹⁶ «*Туссан*» (фр. *Toussaint*) — обиходное название праздника Всех Святых 1 ноября.
- ¹⁷ *Общевоинский союз* (сокр. РОВС) был создан в 1924 г., его возглавил генерал Врангель.
- ¹⁸ «*Батиман*» (фр. *bâtiment*) — здание, строение, дом.
- ¹⁹ *Аксидан* (фр. *accident*) — авария, несчастный случай
- ²⁰ *Аллоброги* (лат. *allobroges*) — кельтское племя, подчиненное римлянами в 121 г. до н. э.
- ²¹ *Галлиполийцы* — солдаты разбитых частей Белой Армии, высадившиеся в ноябре 1920 г. на полуострове Галлиполи в южной части европейской Турции.
- ²² *Аксаковскую речь по поводу Берлинского мира* — И. С. Аксаков (1823-1886), известный писатель и публицист-славянофил, 22 июля 1878 г. произнес речь на собрании Московского славянского общества, в которой резко критиковал заключенный в 1878 г. мирный договор, завершивший русско-турецкую войну.
- ²³ *Бывшие участники экспедиционного корпуса* — Весной 1916 г. русский экспедиционный корпус в количестве 20 тыс. солдат, посланный в помощь союзникам на Западный фронт, был вы-

сажен в Марселе и Ла Рошеле после 2-месячного морского плавания. Солдаты и офицеры корпуса участвовали в сражениях на разных участках фронта; в Шампани они понесли большие потери.

²⁴ *Усмирители непокорной Куртины* — восстание в сентябре 1917 г. русских солдат из экспедиционного корпуса в лагере, расположенном около местечка Куртин в департаменте Крээ, было отголоском Февральской революции в России. Часть солдат отказалась присягнуть Временному правительству и подчиниться командованию, отправлявшему их сражаться на германский фронт. Восстание было подавлено.

²⁵ *Марто* (фр. *marteau*) — молот, молоток.

²⁶ «*Конже-пэе*» (фр. *congé payé*) — оплаченный отпуск.

²⁷ *Кантина* (фр. *cantine*) — общественная столовая, буфет.

²⁸ *Шомеры* — безработные (см. прим. 6).

²⁹ — *Soyez bon pour les animaux!* — Будьте милосердны к животным!

³⁰ *Элоу и морлоки* — персонажи романа Д. Г. Уэллса «Машина времени».

³¹ *Лимитрофные государства* — Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия, входившие в состав Российской империи и ставшие независимыми государствами после 1917 г.

³² — *Комбьен са? — Труа франк. Сэ па шер, сэ па шер!... — Сэ па шер нур ля тембр, мэ сэ нур му-а ше-р...* — Сколько стоит? — Три франка. Это не дорого. — Это не дорого за эту марку, но для меня дорого...

³³ — *Faites vos jeux, messieurs!* — делайте ставки, господа!

³⁴ «*A Alexandre Herzen Moscou 1812-1870 Paris Sa famille, ses amis, ses admirateurs*»... «*Concession a perpetuité*» — Александру Герцену. Москва 1812-1870 Париж. Семья, друзья и почитатели. Арендовано навечно.

СОДЕРЖАНИЕ

К. К. Парчевский и его книга «По русским углам»

Предисловие

По русским углам

1. На ферме
 2. Вечер в Сансе
 3. Троянцы
 4. Сталь и железо
 5. Нильванжский уезд
 6. Мелочи жизни
 7. Люксембург
 8. Нормандия
 9. Под развесистой клюквой
 10. Провинциальные беседы
 11. На хуторе у казаков
 12. Бордо
 13. Встречи
 14. Ла Рошель
 15. «Стахановцы»
 16. У староверов
 17. Щели
 18. В снегу
 19. «Лишние люди»
 20. Гренобль
 21. Лион
 22. Лионцы
 23. Марсель
 24. Лазурный берег
 25. Канны
 26. Канн-ля-Бокка
 27. Собачья жизнь
 28. Бывалые люди
 29. Ницца
 30. Промышленность и торговля
 31. В тени
 32. На «Волге»
 33. Ниццские учреждения
 34. Красное и черное
 35. Живые и мертвые
- Вокруг Парижа

Парчевский К. К.
По русским углам

Утверждено к печати
Институтом всеобщей истории РАН

Л.Р. ИД № 01776 от 11 мая 2000 г.

Подписано в печать 18.02.2002
Гарнитура Таймс. Объем — 13,75 п.л.
Тираж 500 экз.

ИВИ РАН. Ленинский пр., д. 32а

Книга К. К. Парчевского (1891–1945) «По русским углам» дает отечественному читателю возможность впервые ознакомиться с циклом очерков о жизни русских эмигрантов во Франции в 20–30-х годах XX века. Эти очерки публиковались в парижской эмигрантской газете «Последние новости» в 1936–1937 гг.

Автор очерков, окончивший в 1918 г. юридический факультет Петербургского университета и одновременно Психоневрологический институт Бехтерева, эмигрировал с женой и двумя детьми в 1920 г.; сначала он жил в Болгарии, а с 1923 г. обосновался в Париже. Там он стал печатать статьи и очерки в эмигрантской прессе; особенно его интересовала судьба русских эмигрантов не только во Франции, но и в других странах мира. Он предпринял ряд поездок по Европе, Африке и Латинской Америке и везде встречался с переселенцами из России. В результате были опубликованы несколько циклов его очерков, статьи и рассказы (всего более 180 публикаций); книга «В Парагвай и Аргентину» была выпущена отдельным изданием в Париже в 1936 г.

Цикл очерков «По русским углам» явился результатом многолетних исследований, основанных на детальном изучении официальных материалов, на личных наблюдениях и впечатлениях во время поездок по городам и регионам страны, на беседах с эмигрантами различного происхождения, социального положения, культурного уровня, образования и достатка. Уникальность цикла состоит в том, что герои этих очерков — не выдающиеся писатели, поэты, артисты и т. п. (им уделяется достаточное место в мемуарной и исследовательской литературе), а рядовые люди, беженцы от невзгод революции и гражданской войны, сумевшие в культурно чуждой среде организовать, наладить жизнь, сохранить свою идентичность, свое достоинство, язык и веру отцов. Перед читателем проходят разные человеческие судьбы — это и удачливые и разорившиеся фермеры, и пролетарии-аристократы, и приходские священники, и полковники-шоферы, и смиренные и не сломленные русские женщины.

Благодаря предлагаемым к публикации очеркам, жизнь русской эмиграции «первой волны» во Франции предстает перед читателем во всем многообразии географических, этнических, социальных и психологических особенностей. Кроме того, запись множества бесед с конкретными людьми, жившими в разных городах, деревнях и местечках, дает возможность утверждать, что перед нами — ценный исторический источник, своего рода «устная история» тех времен. Следует добавить и высокий литературный уровень очерков К. К. Парчевского.